

ИЗДАТЕЛЬСТВО
амфора



Татьяна
Москвина

*Она
что-то знала*

Татьяна Москвина

Она что-то знала

«Автор»

2007

Москвина Т. В.

Она что-то знала / Т. В. Москвина — «Автор», 2007

Великая и смешная, грозная и трогательная «Россия женщин» написана автором в пародийной манере «иронического детектива». Историк Анна Кареткина расследует самоубийство публициста Лилии Серебринской. Судьба приводит Анну из Петербурга в Москву, из Москвы – в космос, где человек спорит с Богом о своей доле, а затем – в провинциальный посёлок, где сама жизнь даёт прямые ответы на проклятые вопросы.

© Москвина Т. В., 2007

© Автор, 2007

Содержание

| | |
|---|----|
| 1а 2б 3в 4 г 5д 6е 7ё 8ж 9з 10и 11й 12к 13л 14 м 15н 16о 17п 18р 19с 20 т 21у 22ф 23х 24ц 25 ч 26ш 27щ 28ъ 29ы 30ь 31э 32ю 33я | 5 |
| Действие первое: | 6 |
| 1а | 6 |
| 2б | 11 |
| 3в | 17 |
| 4г | 22 |
| 5д | 28 |
| 6е | 33 |
| 7ё | 38 |
| 8ж | 43 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Татьяна Москвина

Она что-то знала

...но света источник таинственно скрыт...

Анна Ахматова

**1а 2б 3в 4 г 5д 6е 7ё 8ж 9з 10и 11й 12к 13л
14 м 15н 16о 17п 18р 19с 20 т 21у 22ф 23х
24ц 25 ч 26ш 27щ 28ъ 29ы 30ь 31э 32ю 33я**

Мой дорогой,

земля остыла, море ушло, солнце погасло, ветер утих – и мы с тобой разлучены. Между тем твоя оболочка часто встречается мне, и в её глазах я вижу всё ту же безотрадную пустыню, по которой упорно идёт презирающий сам себя верблюд. Что ж, теперь, когда мы несчастны, мы можем с тайной радостью мечтать о счастье. Оно, счастье, тихо копится в нас, откладываясь в душе лёгкими, нежными пластами, как жирок во время послеобеденного сна. И потом: счастливые и довольные, просыпаясь от солнца в объятиях друг друга – как мы были бы противны людям! И как мы, раздавленные колёсами судьбы, милы им сейчас!

Унижение – величайшая сила. Всё, что унижено, – будет торжествовать. У нас в России было время заметить неумолимость этого закона – но хватит ли мне моего, личного времени, чтоб достойно встретить грядущее торжество моей униженной души?

Ничего. Я подожду. Я открыла сегодня маленький кукольный театр. У меня есть целая корзинка забавных кукол, и я хочу разыграть с ними одну любопытную историю.

Мои куколки живые и умеют говорить. Они что-то знают обо мне, но никогда меня не видели.

Лилия, Марина, Роза, Алёна.

Пора, мои девочки. За работу...

Действие первое:

Лилия

Помилуй, сказала я однажды, охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят... Глаза её засверкали. Стыдись, сказала она, разве женщины не имеют отечества?.. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на M-me de Staël: Наполеон боролся с ней, как с неприятельскою силой... А Шарлотта Кордэ? а наша Марфа Посадница? а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Я слушала с изумлением. Увы! К чему привели её необыкновенные качества и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: Il n'est de bonheur que dans les voies communs – Счастье можно найти лишь на проторённых дорогах.

Александр Пушкин. Рославлев

1а

Беда в том, что, как мне кажется, на свете уже давно вообще не осталось никаких секретов.

Агата Кристи. Часы

На приёме в.....ском дворце, затеянном после премьеры в.....ском театре, трое незнакомых между собой гостей вдруг заговорили о случившемся недавно самоубийстве поэтессы Лилии Серебринской.

Анна Кареткина, молодая женщина тридцати трёх лет, излучавшая доброжелательную прохладу, которую так ценят любители *мороженого*, немного знала покойную, а потому отвергла предположение крупного, жаркого и несколько душного мужчины среднего возраста о том, что причиной ухода поэтессы из жизни явилось отсутствие личного счастья. Которое, что правда то правда, редко проживает в домах одиноких пожилых женщин.

– Лилия Ильинична никогда и не стремилась к личному счастью, – сказала Анна. – Она жила в обществе и для общества. Вы что, разве не читали её публицистику?

Крупный мужчина Артур, владелец процветающей радиостанции и сети музыкальных магазинов, в юности писал стихи, но никакой публицистики не читал с перестройки, чем неплохо сэкономил время. Однако он позволил себе усомниться в эффективности публицистики как заменителя женской жизни.

– Это другой случай, – терпеливо разъяснила Анна. – И кстати, у неё была довольно обширная женская жизнь, насколько я знаю. Всегда среди товарищей, всегда в борьбе... большой гостеприимный дом... в общем, находились любители. И потом, Лилия была интересная женщина. Конечно, без этой сладкой, кошачьей женственности, без этого искусственного кривлянья... Весёлая, энергичная, остроумная. Хорошие такие глаза – серо-голубые, ясные.

– Да, – подтвердил небрежно одетый старичок с толстым носом и седыми кое-как подстриженными кудрями (как потом оказалось – исторический романист Яков Фанардин). – Лилия была боец. А бойцов убивают.

Анна, раздумывая, осушать ли бокал дешёвого шампанского, каждый глоток которого вопил «Я – твоя изжога», или воздержаться, внимательно посмотрела на старичка. В его красных глазках светился недопитый ум.

– Вы думаете? – спросила Анна.

Мужчина Артур вкусно засмеялся. Он явился на приём без супруги и ждал от вечера чудес. Он их ждал всегда – и часто получал. Все психоаналитики мира, явившись изучать этого человека, ушли бы вскоре, посрамлённые и на фиг не нужные. У мужчины Артура не имелось в заводе ни подсознания, ни бессознания, ни комплексов, ни проблем. На дворе стояли его времена. В случае чего, виагра. Ему понравилась Анна – она не трепыхалась, бегая за пищей и людьми, но спокойно рассматривала очевидно чужой ей мир поддельно роскошного приёма. Маленького роста, аккуратная, в белой блузке. Такие сразу после идут в ванную. Без промедления, обязательного для больших и страстных женщин.

– Вы это что сказали, а! Просто как у Агаты Кристи – думали, самоубийство, а потом оказалось убийство. Даму пугаете, – сказал он Фанардину.

Старичок-то и затеял разговор. Он подошёл к Анне и Артуру, оглядел пространство и, вздохнув, произнёс: «„Мы во дворце, как самозванцы...“ Права была Лиличка Серебринская, это она ещё десять лет назад написала...» Ну, и потекли речи-речушки, как оно бывает. Бог весть, кто правит разговором. Про самоубийство Серебринской знал даже мужчина Артур.

– Да кому нужно было убивать вашу поэтессу? Сейчас не как в девяностых, убивают только по делу.

– Ваше замечание справедливо, – согласилась Анна. – Но лишь для верхов нашего общества. Там действительно уже убивают, как вы выразились, «только по делу» – то есть из-за дефека огромных денег. Но внизу цивилизующий свет постепенно меркнет. Уменьшается и цена вопроса. Пожилую женщину вполне могут убить, например, из-за квартиры. Да вообще просто так могут убить.

– С квартирой чисто, – разъяснил Фанардин. – Квартира дочери. Дочь в Париже.

– Да, это у наших демократов уж обязательно – или дочь в Париже, или сын в Лондоне, – вставил мужчина Артур, удивив Анну некоторой игривостью ума. – Мои вот здесь, все четверо!

– Мои тоже здесь. Сын на Южном кладбище, а дочь – вон видите, за главным столом тусуется? Высокая такая? Художник по костюмам, Ира Фанардина.

Наконец-то произошла идентификация. Якова Фанардина ещё помнили в городе, хотя он давно никуда не совался и тихо-интеллигентно пил в своём Комарове. Анна даже вполне отчётливо помнила его легкие, занимательные книжки, где она пропускала несносные описания военных действий ради крепко сколоченных любовных историй. Фанардин был писатель старой закваски и знал, что проза без женских образов – это не проза. Правда, все любовные истории Фанардина неумолимо заканчивались смертью героини – видимо, в жизни автора были обстоятельства, требовавшие подобной гиперкомпенсации.

Костюмы Иры Фанариной сбили тему, и тень Лилии Серебринской обиженно удалилась – заговорили о спектакле. Спектакль, как осторожно сказал мужчина Артур, спавший из-за культурной жены во многих театрах страны и мира, был «современный», то есть абсолютно бессмысленный.

– Я удивлена, – объяснила Анна. – Издательский отдел театра попросил меня написать в буклет про Смутное время и царя Бориса. Я историк... Но в данном случае моя работа совершенно лишняя. То, что происходило на сцене, не имело никакого отношения к истории.

– К истории! – фыркнул романист. – Оно, то, что мы видели, вообще ни к чему отношения не имело. Вспомните хоть кровавых мальчиков. Я чуть не описался.

А нелишне заметить, что герои наши смотрели постановку оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, где несчастный царь, как вы помните, жалуется на муки нечистой совести. «И голова кружится, и мальчики кровавые в глазах...» – поёт он густым басом. Так вот, в финале спектакля, во время сцены смерти Бориса, сверху медленно опустилась громадная паукообразная конструкция и схватила царя металлическими лапами. Кровавые же мальчики в бархатных платьях появились в количестве двенадцати душ и образовали вокруг героя хоровод. Было от чего описаться.

– Так что вы хотите! – вздохнула Анна. – Это сейчас везде всё такое. Вы что, желали бы Кремлёвские палаты в натуральную величину, Годунова в соболях?

– Я бы согласился, – сказал Фанардин. – Я, может, завтра умру и никогда больше в оперу не попаду. Так мне, конечно, лучше бы по старинке, вот как вы говорите – Кремль, и чтоб в соболях, и чтоб задники писанные, и кубки из сусального золота, и бутафорские перстни на руках, и шалыпинский бас...

– И Самозванец на коне, и конь чтоб кучу наложил, – захохотал Артур. Профессия Анны его несколько отпугнула. Нет, он хорошо знал, что даже у запредельно учёных женщин это самое не на лбу, но не любил много разговаривать до. После – пожалуйста. А учёные дамы любят говорить до. Сами знают, что теряют таким образом три четверти возможных клиентов, но ничего не могут с собой поделать. «Мы поедем на Лидо, только после, а не до», – запрыгал в голову Артура дурацкий стишок.

– Да... – вспомнила Анна. – «Мы во дворце, как самозванцы»... Хорошие слова. А как дальше?

Мы во дворце, как самозванцы.
Придёт ли Смутному конец?
Кто остановит эти танцы,
Кто господам вернёт дворец?

Эти простые слова отчего-то подействовали на мужчину Артура как ладан на чёрта. Наши предки, видимо, имели опыт наблюдения за реакциями чёрта на запах ладана и передали своим злосчастливым потомкам знание того, что он – шарахается. Шарахнулся и Артур, не забыв, однако, в конце вечера сунуть Анне визитку на всякий случай. Анна положила её в маленькую чёрную сумочку, как в гроб.

На выходе изского дворца Анна столкнулась с Фанардиным.

– Уходите, заскучили? – понимающе улыбнулась она.

Романист, не пьяный, но и не трезвый, очевидно, более всего хотел оказаться дома и добрать дозу. Он был из гипербореев, и отправлял его в лучший мир только цельный литр коньяку, а это ж разве наберёшь стопочками на приёмах?

– Скучно – не то слово. Тошно... или как в песенке поётся: мне моркотно, молоденьке, нигде места не найду. Давайте, Анечка, пройдемся немного – я совсем рядом живу, посажу вас на такси у дома, хорошо?

Да, хорошо придумал дедушка Яков: стоял тёплый влажный октябрь, а прогуляться добрым осенним вечером по Санкт-Петербургу – не репетиция ли это будущих вечных блаженств?

– Я очень рада с вами познакомиться, – сказала Анна. – Я вас много читала. Может, из-за вас и увлеклась историей. Вы так занимательно пишете!

Анна всегда говорила простые, ясные, даже банальные вещи, но с такой обаятельной, спокойно-свежей интонацией, так любезно и вместе с тем отчуждённо, что это обычно располагало собеседника в её пользу.

– Спасибо, детка, – ответил Фанардин. – Я и не спорю. Сколько сил я отдал этой шлюхе, чтоб её черти съели совсем, хотя она им, чертям, и родная дочь.

– Шлюхе? – переспросила Анна с опаской, решив, что старичок сейчас начнёт жаловаться на свое увесистое и успешное детище, художника Иру, которая проявила недюжинную фантазию, одев Марину Мнишек сегодняшнего спектакля в лиловый брючный костюм.

– Да, она шлюха, тварь, блядь... Имя её – *занимательность*. Занимательность! Вы когда-нибудь размышляли над тем, что это такое? Нет? А вот представьте, живут две женщины. Одна – честная, умная, работающая, чистая, вся из достоинств, короче. В Бога верит и отечеству

служит. Ждёт избранника, которому отдаст всё и навсегда. И никого-то у неё нет, никто-то к ней не ходит! А рядом соседка, соседка, гадючка – пустая, лживая, вся цена – рубль, и не верит она ни в Бога, ни в чёрта, и грешит она как дышит. А валят к ней – толпами. Потому что умеет когда надо грудку открыть, когда надо – плечиком повести, ножкой топнуть, пообещать и надуть, вдруг дать – а потом отшвырнуть... Завлекать умеет, секрет знает. А секрет простой, не бывает проще... Вот такая же разница между честным рассказом – и рассказом *занимательным*...

– Понимаете, Яков Михайлович, – развеселилась Анна, – то, что вы сказали, скорее всего, чистая правда. Но и это ваше рассуждение – *занимательно*...

– Да! Я неисправим! Я убил жизнь на блядские фокусы, на все эти монтажи, нагнетания, умолчания, многоточия, провокации, намёки... Сколько жертв я принёс тупым и кровожадным богам Сюжета! А всё это – ложь, ложь без конца и края. Дешёвый сладкий лимонад, не утоляющий жажды. Лев Толстой, Чехов, Платонов – разве они станут хитрить с вами? Морочить вам голову насчёт того, что кто-то кого-то убил и теперь надо понять, как закрылось французское окно и куда делись три глиняные фигурки, которые стояли вчера вечером в пять пятнадцать у камина, возле которого господин Редкая Гнида собрался переписать своё завещание? О, если бы сейчас вернулись мои силы, разве я стал бы писать такой вздор, как раньше! «Над Петроградом собирались тучи. В эту ночь Александру Фёдоровичу Керенскому не спалось...». Тыфу совсем! – и Фанардин в самом деле энергично сплюнул.

– И про что бы вы писали сейчас? – спросила Кареткина.

– А вот про это, – и Фанардин показал рукой на окружающее. – Про то, что здесь днём стоит киоск молочных продуктов, и там мёрзнет или преет от жары молодая женщина, толстая, некрасивая, и у неё есть дочка-школьница, тоже некрасивая, и про то, как эта продавщица, вульгарная и склочная, любит свою девочку и умрёт за неё – или убьёт кого-нибудь, если будет нужно. Про своего соседа, депутата Законодательного собрания, фантастически глупого человека, который, я уверен, не в силах понять ни одного документа, за который приходится голосовать, но как важно и гордо он ездит зимой, по воскресеньям, кататься на лыжах с семейством, и тогда видно, до чего он завидный муж и отец – не пьёт, в дом несёт, жену обожает... Про то я написал бы, что мы все – изумительно хорошие люди, полные до краёв спелой любви, и как здорово, что мы, красные от натуги, каждый день производим большое тёплое говно, в котором нам так удобно и приятно жить...

– Так напишите про это.

– Не хочу. Вот, Анечка, мы пришли. Жалко расставаться, честно говоря.

– Мне тоже, но уже поздно. Я на Среднеохтинском живу – далеко. Яков Михайлович, а вы всерьёз думаете, что Серебринскую убили?

Фанардин рылся в карманах, составляя букет из ста пятидесяти рублей, который намеревался вручить извозчику за доставку дамы.

– Почти уверен. А вы вот что, Анечка, приходите завтра в гости – я вам всё и расскажу.

– Придётся зайти, Яков Михайлович, – вы меня заинтриговали.

– А что мне остаётся, скажите на милость? Внешность померкла, слава потускнела – приходится головой работать.

Анна, сама напроць лишённая агрессии, всегда ощущала её в людях. Фанардин был безобиден – чуть жалок и весьма забавен. Для некоторых людей судьба может раскошелиться и на изящные ловушки. Историк Анна Кареткина решила отправиться на следующий день в гости к романисту Якову Фанардину, чтобы расспросить его про все известные ему обстоятельства смерти поэтессы Лилии Серебринской.

В том, что Анна называла себя «историком», было чуть-чуть лукавства – именуют же «литераторшами» преподавательниц литературы. Она читала курс русской истории в одной

гимназии, выпустила в соавторстве две просветительские книжки и несколько раз попала в лапы телевидения – Анна внятно излагала исторические сюжеты и своей приятной внешностью и манерами как-то смягчала субстанциальную мрачность избранного предмета. Как правило, об истории на телевидении рассказывают более чем странные люди, ужасно переживающие за ход событий. Анна сохраняла спокойствие. У неё не было излюбленных или презренных личностей. Люди прошлого удивляли её силой своих желаний, а потому оставались непостижимыми – вещество желания было для Анны самой большой загадкой жизни.

Бывший муж в сердцах обзывал её «килька балтийская». Три года Анна, учась в аспирантуре, подрабатывая экскурсоводом и прилежно ведя бедное хозяйство, выслушивала упреки в полном отсутствии традиционных русских добродетелей. Потом сказала супругу, что их совместная жизнь лишена смысла: она никогда не выучится пить ночью водку и вести душевные разговоры. Ему нужна другая женщина. Это было совершенно ясно и очевидно, и Анна, получив за время развода мужское беснование в полном объёме, так и не поняла, чего же хотел этот человек.

А он хотел всего лишь, чтобы она стала другой женщиной – как и чудачки, рассказывающие об истории, хотели, чтобы история стала другой.

Свою женскую природу Анна воспринимала как неизменное правило игры; не чувствовала никакой обиды или униженности, но и радости получила от неё немного: так уж на свете устроено. Она любила читать про толковых, умных женщин, преуспевших на каком-либо поприще, и, несмотря на всё своё историческое спокойствие, расстраивалась, если такую женщину постигало несчастье в личной жизни.

Известие о самоубийстве Серебринской её взволновало. Ни дидактические, рациональные стихи, ни публичные, всегда к чему-то призывавшие речи Лилии Ильиничны не нравились Анне. Но она сама при личном знакомстве (дело было на радио, собирали круглый стол беседующих о грядущем города и мира) – понравилась, даже притянула.

В Серебринской чувствовалась твёрдая, доброкачественная основа – казалось невозможным, чтобы этот человек солгал, предал, унизил кого-нибудь или стал выпрашивать подачку. Она уважала себя, уважала людей и всегда была готова выслушать, помочь, поддержать – или решительно от этого отказаться. Из-за широкой спины, большой головы и длинных рук Серебринская казалась крупной женщиной, но была в действительности легка, любила бегать, кататься на коньках, путешествовать, принимать гостей... Откуда тут было взяться тоске, депрессии, самоуничтожению? Неужели она рухнула так вдруг, в одночасье? Неужели опять треклятая личная жизнь, какая-нибудь там поздняя любовь? Неужели хаос и эрос всегда заберут своё у космоса, как ни крутись? Признание этого означало, что в беге времени уже зреет, неспешно и неотвратимо, поражение самой Анны.

«Лучше бы Фанардин оказался прав», – подумала она.

26

– Теперь мы пойдём вверх по реке, – сказал Грэнджер. – И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы несём в себе.

Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту

Как правило, гений – это количество; потрудись за-ради ярлычка с приговором как следует, и попадёшь в кроссворды: пишешь пьесы – не меньше двадцати, картины – изволь сотнями, а то чем наполнять американские галереи изготовитель музыкальных опусов обязан добраться до трёхзначного числа, прилежно чередуя удачные с неудачными, а то для чего музыковеды на свете; однако попадаются и тут исключения, выскочки, романтические шуты вроде А. С. Грибоедова. Автор единственной пьесы исстари пользуется на Руси всеми привилегиями гения, не выполнив ни одной обязанности. Яков Фанардин, сочинивший двадцать три романа и проживавший на углу Английского проспекта и канала Грибоедова, иногда с грустью думал об этом. О канале или проспекте он и не мечтал, но хоть бы переулок... Красиво же: Фанардин переулок.

Как большинство одарённых русских людей, Яков Михайлович слишком много хотел от жизни. А давно известно, что русским, желающим полной смены общественного строя, редко приходит в голову убрать в собственной квартире. Ну до этого ли? Отличная трёхкомнатная квартира Фанардина была запущена катастрофически – классическая экспансия книг и бумаг.

Анна не знала того, что знают все профессиональные журналистки товарного вида – с возрастом интервьюируемого отечественного мужчины опасность сексуальных домогательств возрастает. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности с лицами не старше сорока. Далее кривая возможного лезет вверх и резко возрастает после отметки в шестьдесят. К знаменитостям старше семидесяти надо идти подумавши и вооружившись вариантами галантного отпора. Но если ваш герой – бывший сталинский сокол и, стало быть, ему крупно за восемьдесят, вас не спасёт ничто. Сила жизни у выживших в двадцатом веке есть величина фантастическая. Шуршащие по своим громадным сталинским квартирам усохшие старички, чья иставявшая плоть уже ничем не прикрывает давно поселившуюся в них нечистую силу, жаждут молодой крови всеми врождёнными присосками и нажитыми фибрами. Некоторые прямо с ходу запрыгивают на даму и впиваются ей в губы.

Анна с такими явлениями не встречалась, но её центры безопасности работали чётко: Фанардин, по её ощущениям, мог посягать, но невинно и не противно.

К визиту Анны Фанардин расчистил уголок на кухне. Его благополучие пришлось на пору середины семидесятых – начала восьмидесятых годов, о чём говорила небольшая коллекция гжели, крупный советский телевизор последнего призыва и белые крашенные полки. В коридоре им встретила старая немецкая овчарка с отвисшим брюшком. Собачка хорошо и разнообразно пожила. Чтоб лаять – так это даже не обсуждалось.

– Это моя старушка Эльза. Чего я с ней натерпелся, вы не представляете. Весь Союз писателей потешался над «Яшкиными щенками»... Главная заповедь всякой порядочной женщины – это давать редко и грамотно. А моя собачья Марлен Дитрих давала часто и без разбору. Не пойми что рождалось, вроде нас, советских людей... Тоже новую породу вывели – хрен с редькой на берёзе... Ну что, Анечка, коньячку?

«Одну рюмку выпью», – решила Кареткина.

– Вот, приготовил для вас, – и Фанардин, быстро и чётко отработав экспозицию разговора, из которого выяснилось, что Анна училась в Университете, была замужем и политикой не интересуется, притащил грудку старых фотографий. – Это вот незабвенные шестидесятые, самый конец.

С фотографий на Анну смотрели смешно одетые и раскрашенные девушки – вдвоём, втроём, вчетвером, с молодым кудрявым человеком небольшого роста (э-э, Яков Михайлович, да это вы...). Фанардин комментировал.

– Их было четверо, девичий бор, кружок, тайное общество, можно сказать. Учились в одной школе. Лиличка, потом Роза Штейн – видите, какие резкие черты, ей здесь восемнадцать, а кажется верных тридцать, да? Круглая отличница, вся из ума прям сшитая. Я её боялся до энуреза. Алёна Царёва – чудо. Был бы скульптором, взял бы её для символа России. Коса какая, чувствуете? Сейчас уже нет, конечно, косы-то. Ну и... Марина...

– Господи, – сказала Анна. – Я сейчас только вспомнила. Марина Фанардина, актриса... ваша жена?

– Пять лет в колонии строгого режима, – усмехнулся Фанардин. – Это я так называю этот брак. Никогда потом не встречал более красивой и более ужасной женщины – да и не искал. После Марины мне, кроме покоя, ничего не хотелось уже никогда.

– Дружили в молодости, а потом, как это бывает, жизнь развела наш «девичий бор»?

– А вот как раз не так, – ответил Фанардин. – Они всегда держали связь между собой. Более того, мне известно, что накануне смерти Лилички и Роза, и Алёна, и Марина навещали её и провели с ней почти два дня. Понимаете, это было непросто – их союз. Даже мне, ближнему, они всего не рассказали.

– Простите, Яков Михайлович, что это значит? Кружок в греческом стиле, что ли, сафическая дружба? В конце шестидесятых?

– Нет, это вряд ли. Разве что Марина могла из любопытства, из мерзкого холодного любопытства, которое в ней, кажется, до сих пор не перевелось. Но не девочки. Нет, в их кружке была другая тайна.

– Тайна? – с изумлением переспросила Анна. – Не какой-нибудь дурацкий фанатизм, не девичий зуд общения, проходящий после свадьбы, – самая настоящая тайна?

– Да. Я ведь тоже сначала с юмором и раздражением смотрел на закадычных подружек своей жены. Раздражало их влияние – Марина без их согласия не выходила за меня, а согласия они не давали полгода. Меня Роза невзлюбила, а Роза была головой компании, как Лиличка – совестью, Алёна – душой, а Марина... не знаю. Чёртом, наверное...

Вот что рассказал за коньячком историку Анне Кареткиной романист Яков Фанардин тёплым осенним днём 200... года.

Лилия Серебринская, Роза Штейн, Алёна Царёва и Марина Иткина (потом ставшая Мариной Фанариной) учились в школе возле Витебского вокзала. Роза и Алёна – с самого начала, а Лилия и Марина поступили туда после восьмого класса, когда их родную школу в Советском переулке расформировали по причинам, погребённым в пучине времён. В новом коллективе девочек для порядка немного покусали, фигурально выражаясь, но вскоре на их защиту встали две крупные величины, два тогдашних авторитета: Алёна и Роза. Нелепая, бурная, кристально чистая Лиля и ядовитая красавица Марина понравились и всерасширяющейся русской душе Алёны, и всепроникающему еврейскому уму Розы. Девочки образовали прочный кружок. Вскоре одноклассники начали сторониться таинственных заговорщиц, живших в школе, как шар внутри шара. Стоило только тронуть одну, как рядом возникали остальные, готовые к бою и вооружённые презрением.

После школы девочки поступили в разные вузы: Лиля – на географический факультет Университета, Марина – в театральный, Роза – в педагогический, Алёна – в медицинский, со второго раза. Все писали стихи, потом бросили, кроме Лили и Розы, но Лиля сделала неболь-

шую литературную карьеру, с перестройки уйдя в публицистическую и общественную работу, а Роза печаталась редко и *в кругах* не вращалась. Марина вышла замуж за Фанардина, закончила институт, играла два сезона в Театре имени Ленинского комсомола, развелась и уехала в Москву, где нашла искомую славу и, что было для неё даже важнее, горячие источники постоянного нервного оживления. Алёну много где и с кем крутило, после чего она отъехала в православие и с мужчиной схожей судьбы отбыла в глубь России. Роза учительствовала, переводила, жила одиноко и замкнуто, и в последние годы вроде бы поплыла умом. Сорок с лишним лет девочки, превратившиеся в молодых, затем среднего возраста, затем пожилых женщин, поддерживали дружеские связи и помогали друг другу.

В конце сентября 200... года, точнее – 28 сентября Марина позвонила Фанардину и сказала, что она в Питере и гостит у Лильки. Фанардин лежал в больнице и разговор помнит неясно, тем более Марина всегда предпочитала общаться глубокой ночью, когда добрые люди, напившись водки, спят зубами к стенке. Триста дней в году Фанардин придерживался этого золотого образа жизни, но на этот раз пришлось оригинальничать поневоле, и он не без любопытства наблюдал за благотельным влиянием на душу бессмертных капель Морозова.

Марина рассказывала, что Лилька такая же дура, как была, что Лилькин секретарь Витасик – сволочь и проходимец, что последним подвигом Лили стало перевоспитание брачного афериста Василия Бронного и ещё много чего, но тут Яков Михайлович вырубился. 30 сентября утром секретарь Витасик обнаружил мертвое тело Лилии Ильиничны Серебринской, в лиловом трикотажном платье от Лилии К.....ко – единственная модная вещь в спартанском гардеробе публициста. На прикроватном столике, под букетом из четырёх белых лилий, лежал листок бумаги, где рукой Серебринской было написано следующее:

Натёрли пятёрку на тёрке,
Забросили в чан, где плывут
Две тройки, четыре четвёрки —
Их девять девяток жуют.
Л И М Р А
Никого не винить, я сама. Серебринская.

Сорок таблеток фолиамила¹ Лилия Ильинична, видимо, запила разливным вином «Изабелла» – пустая упаковка и пластиковая бутылка валялись на полу. Итак, 28 сентября Серебринская принимала старинных друзей и не помышляла о самоубийстве. Что могло случиться за один день?

– Яков Михайлович, а вы спрашивали подруг Серебринской, как они встретились, о чём говорили?

– Я не был на похоронах, попал только на девять дней. Марина и Алёна уже уехали тогда. Конечно, я звонил им, и с Розой общался. Они что-то знают – но молчат. Зачем собирались? Говорят – просто так, давно не виделись. Что делали? Говорят – пили, ели, веселились. Вспоминали свои школьные стихи и кто в кого был влюблён. Алёна уехала на следующий день в шесть вечера, Марина – в двенадцать.

– А лилии?

– Что – лилии?

– Откуда взялись четыре лилии? Они утром стояли на столике. Их подруги принесли или они уже были?

– Я не спрашивал, – ответил Фанардин. – Вылетело из головы.

¹ Название вымышленное. Не ищите фолиамил в аптеках вашего города. (Примеч. авт.)

– Странно. Четыре подружки – четыре лилии. Но в русской традиции чётное число цветов приносят только покойникам. Если гости дарят цветы и их оказывается чётное число, любая хозяйка отщепляет от букета цветов и ставит его отдельно. Такое правило. Никто не знает почему, но все подчиняются... Я всё-таки не понимаю, какие у вас основания для ваших подозрений, Яков Михайлович. Кому выгодна смерть Серебринской? С кем она общалась последнее время?

– Лиличка общалась, как всегда, с хреновой тучей людей. Ну, во-первых, это боевые товарищи по Фронту. Фронт гражданской защиты, знаете?

Анна периодически читала воззвания Фронта гражданской защиты, который страдал хроническим стилистическим коллапсом. Бойцы его никак не могли отважиться на приватизацию патриотической лексики и рубить, как положено: свинцовые мерзости режима... палачи свободы... душегубы... топор народного гнева... кровавая клика...

По текстам Фронта выходило, что где-то есть идеал общественного устройства, который Россия обязалась когда-то достигнуть, но обещания своего не выполнила. Фронт гражданской защиты с мягким укором и скорбным терпением предлагал строптивнице всё-таки вернуться на большую дорогу, где, как добрые уличные фонари, стояли сияющие общечеловеческие ценности. Иногда в текстах Фронта появлялась мизантропическая ирония, оснащенная цитатами из Салтыкова-Щедрина. За двадцать лет эксплуатации гражданского самосознания на Руси цитаты не изменились. Публицисты помнили их наизусть, в крайнем случае списывали друг у друга.

– Потом всякие там страждущие и обремененные – солдатские матери, инвалиды, беженцы. Секретарь у неё был, Витасик, он сейчас в её квартире живёт для сохранности – дочка попросила. Дочь Китя, Катя то есть, замужем за французом. Не нуждается, живёт припеваючи, ещё и Лиле помогала. Вроде бы никому смерть Лилички никакой выгоды не принесла. Фронт этот шутовской, никто его в грош не ставил...

– А что это за дичь такая – «натёрли пятёрку на тёрке»? Что такое ЛИМРА?

– Без понятия!

– Но, Яков Михайлович, почему вы так убеждены в... насильственной смерти Лилии Ильиничны? Человека можно зарезать, задушить, отравить тайно, но взять и запихнуть в него три упаковки таблеток – это нереально.

– Анечка, у меня нет никаких зацепок, никаких доказательств, но... – Фанардин заметался по кухне. – Вы верите в интуицию?

Анна как женщина не могла сказать «нет». Все женщины обязаны верить в интуицию. Однако в интуицию современников Анне верилось плохо. Чтобы улавливать скрытое знание, надо быть лёгким, прозрачным – а современники были нележки.

– Глупо я сказал. Не то. А вот допустим, что вся информация обо всём на свете носится в воздухе. И что-то во мне застряло и покоя не даёт. Вот, смотрите, Лиличкино письмо ко мне, я тогда в Комарове безвылазно сидел, она потом из него небольшое эссе сделала – ну правильно, не пропадать же впечатлениям...

«...И он даже не думал меня оскорбить или унижить, – писала Лилия, – для подобных операций в его голове не было места. Он сказал „тётка, подвинься“ так же коротко и просто, как сказал бы кошке „брысь“. И тут у меня что-то прояснилось в голове – я увидела мир как он есть. И себя в нём. Я была в этом мире тёткой.

Это не было наградой или наказанием, это не было хорошо или плохо, *это было так*. В мире существовали дети, подростки, молодые мужчины и женщины, старики – и ещё в мире существовали тётки. Вот отныне моя должность, моё звание, моя прописка! Что ж, раз я получила эту роль – будем играть. Как всегда, по-русски, с душой.

Тётки – женщины средних лет, с угасшей, подавленной или повреждённой женственностью – плотно коренятся в жизни. Собственно, они и есть сила жизни. Войско Богини-Матери!

Тётки несут бытие на крутых, подпорченных остеохондрозом плечах, искаживают его короткими толстыми ножками, где, как малый счёт в Сбербанке, заведено *отложение солей*. (Если бы эволюция не остановилась, тётки сумели бы нарастить себе копытца!) Царство тёток – строгое царство: здесь всё своё: и болезни, и радости, и обычаи, и дизайн, и вера... Вот она, вот она, наша тётка, ввалилась в маршрутный автобус, с двумя сумками в руках, уцепиться не за что, передала кучу граждан, болтаясь по салону, нашла место, плюхнулась. Рассмотрим её, пока она, сопя, достает кошелек. (А в кошельке-то есть, всегда есть, об этом знают тёмные парни в шапочках-облипочках!)

Здравствуй, голубка! Я тебя знаю. Тебя знают все. Расскажи, где ты достала эту кофту невыразимой расцветки... или нет, лучше сказать – *неизъяснимой*. Кофта эта всегда длиной до бёдер и всегда включает в себя что-то запредельное – золотые пуговицы там, или синие молнии через всю кокетку, или изображение попугая либо тигра. Как грустно и смешно видеть над буйством тропических красок усталое русское лицо, блестящее от пота, в морщинках и пигментных пятнах. А ведь выбирала, думала, стоя у прилавка, – и, поражённая дешевизной цветной тряпочки, пробормотала что-нибудь вроде «ну, живенько так и недорого»... Кофта может стоить двести рублей, две тысячи рублей, двадцать тысяч рублей, но так и останется навеки – *тёткиной кофтой*...

У тётки есть работа, и жилплощадь, и родственники, и обязательно кто-то на кладбище, и везде надо быть – с едой, с деньгами. Такая роль. Крепкий второй план – и всегда хорошие актрисы. Кэти Бейтс, Инна Ульянова. Самое невозможное и позорное для тётки – влюбиться. Нет, она даже может и замуж выйти в своём, в тёткином состоянии, но влюбиться – это какая-то комическая мерзость, вроде спаривания бегемотов. Или лучше: космический стыд. Потерявшая достоинство Богиня-Мать бежит куда-то, трясая грудями, вскормившими мир, и хор крокодилов поёт, нет, ревёт, колебля густое синее небо: *Готовьтесь, смертные! Он пробил, час позора. О, древний ужас, землю пощади! Мать заблудилась. Горе мирозданию!*»

– Грустный текст, конечно, – сказала Анна. – Но, судя по нему, Лилия Ильинична ясно созначала жизнь.

– Кому это помогло? – резонно возразил Фанардин. – Не в этом дело. Если вы когда-нибудь сталкивались с людьми суицида, то сами знаете об их полной погружённости в себя, в свою ситуацию. У Серебринской принципиально другое направление психики – она работает индуктивно, от своей ситуации к общей, от собственной личности – к другим людям. У неё был ограниченный, но ясный ум, который постоянно перерабатывал информацию. Стала тёткой – ну что ж, посмотрим, как живут тётки и чем дышат.

– Действительно, – засмеялась Анна. – Я только сейчас задумалась, как много в мире тёток... Все куда-то едут, с сумками, такие озабоченные, смешные...

– Ну вот именно. Тётки – основа жизни. Простая, крепкая, суровая нить, которая хоть как-то сметывает и сшивает мир – так сказать, *на живую нитку*. Вот нам не хватало только, чтоб тётки стали кончать с собой от неведомых причин! Чтоб им вдруг расхотелось жить, видите ли! Да они и права такого не имеют – с собой кончать. Это наша привилегия. Это мы, мужики, обязаны искать смысл, воевать, рвать жилы, разочаровываться, ломаться, пить, распадаться!

– А Цветаева?

– Так и знал! – взвыл Фанардин, ткнув коньяку, и даже его кроткая собачка кстати лайнула в миноре. – Так вот и ждал, что опять вылезет горькая Марина со своей петлёй. Но это же крайний случай, экстрим такой, человека совсем допекли, и потом – какая ж из Марины тётка? С мужским умом и гением – явно бесполом? Всё это из другого ведомства, из царства особых случаев, диковинных экспериментов по прививке духа к плоти. А Лиличка была самая обыкновенная умная девочка, кость от кости своей интеллигентской среды. Нет, не верю. Кому-

то она помешала... *Что-то знала она...* Конечно, вы правы, и таблетки силой не впихнёшь, но можно заставить! Можно довести человека! В общем, что-то там нечисто, я вам ручаюсь. Слушайте, Аня, у вас такой надёжный вид – пойдёте к Лиличке на квартиру, почтаете бумаги, подышите воздухом. Я скажу Витасику, что вы пишете про неё статью.

– Да, зайти можно, – ответила Анна. – Вижу, втягиваете вы меня *в историю...*

Зв

Самые жестокие две вещи на свете, думала она и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда, в макинтоше, они стоят и подслушивают под дверь: любовь и религия... Она посмотрела в окно на старушку, поднимающуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, раз хочется ей; пусть остановится; а потом пусть, как часто наблюдала Кларисса, пусть войдёт к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять сокроется в комнатной глубине. Как-то это уважаешь: старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на неё сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли, – но любви и религии только б это разрушить – неприкосновенность души.

Вирджиния Вулф. Миссис Дэллоуэй

Лилия Ильинична была несколько рассеянной и непрактичной, но чистоплотной и трезвой женщиной, и её богатое только книгами жилище на Третьей К.....ейской улице понравилось прохладной душе Анны. Отсутствие денег, мужчины и вещей новейшего времени сообщало аккуратной квартире провинциальный стародевичий уют.

Фотография хозяйки стояла на столе, перевязанная черным бантиком. Анна впервые видела столь игривый знак траура, но самое беглое знакомство с Витасиком, секретарём и помощником Лилии Ильиничны, разъяснило ситуацию – иначе как бантиком молодой человек ничего завязывать и не умел.

Всё время, пока Анна листала блокноты и просматривала записи, не понимая, что она ищет, Лилия Ильинична пытливо смотрела на неё с фотографии светлыми, близко посаженными большими глазами. Что-то старинно-русское, с хорошей примесью суровости и достоинства, было в её длинном лице, «лошадиной морде» – как выражалась она сама...

Трогать чужую душу умственными пальцами – стыдно и приятно; впрочем, стыд скоро проходит. Трудно себе представить эллина или иудея библейских времен, развлекающегося чтением чужих писем и дневников, к тому же размноженных и угодливо разложенных для всеобщего чтения, – так же трудно, как представить эллина или иудея, эти дневники ведущего. К чему вообще это болезненное скопление письменных слов? Мусорная свалка или накопитель, которым воспользуются некие другие времена? Ладно бы литература. Охотно представляю себе «Войну и мир» Льва Толстого как гигантский метафизический сундук, в котором хранится закодированная жизнь – идеальная жизнь русских господ. Если кому-то вдруг понадобится воскресить её – надо всего лишь открыть сундук и сказать какой-то шифр. И вот закрубятся в воздухе и сгустятся, воплощаясь, балы и обеды, войны и охоты, усадьбы и дома, наряды и танцы, весь быт и обиход великолепного миража по имени «Россия». Готовая матрица жизни, всё прописано – как объясняться в любви и как проводить день в осенней усадьбе, как воевать и как танцевать. Только нарастить плоть, и всё! В сущности, пустяки...

А на что рассчитывать частному человеку, пишущему самому себе? Что на основе изложенных данных и его когда-нибудь воскресят? За что же такая привилегия, спрашивается, – ведь пишущие дневники не есть самые лучшие или самые интересные люди на свете. И потом, обещали воскресить всех. Стало быть, вся информация о человеке, переведенная на какую-то там небесную цифру, хранится где положено и волноваться решительно не о чем.

Но человек волнуется и ничего не может поделать с собой. Режет по дереву, пачкает бумагу, испещряет знаками бесконечные электронные поля. Оставляет следы *охотникам*, даже если охотников (желающих постичь-настичь его) нет и в помине.

Лилия Ильинична, чьи заметки читала сейчас Анна, вела дневник нерегулярно, однако именно в последний год жизни обращалась к нему часто. Она, читавшая лекции по минералогии и петрографии в Горном институте, вышла на пенсию, оказавшуюся совсем крошечной. Статьи её публиковали, но редко – повышенного спроса на рассуждения о судьбах страны не наблюдалось. Вопросы, которые человек обычно решает в юности, – *на что жить и для чего жить?* – встали перед Лилией внезапно и в голом виде, как маньяк в парке культуры.

Нет, Фанардин ошибался, и никакой *хреновой тучи* людей вокруг Серебринской не было. Дитя социалистического коллектива оказалось скорее в пустоте, где время от времени возникали отдельные фигуры. Фронт гражданской защиты, выселенный из-за тотальной реконструкции квартала на улице Правды из двух комнат, когда-то дарованных демократическими самозванцами, почти перестал действовать. Дочь приезжала раз в год. Из трёх закадычных подруг в городе осталась только одна – Роза Штейн. И вот со своим бурным темпераментом, жадой общения, деятельным умом и постоянным социальным раздражением Лилия Ильинична осталась одна, и притом без достаточных средств к существованию.

Непрактичная, но разумная женщина решила сдать комнату какому-нибудь юноше-студенту, и юноша явился в её жизнь, но не только не разрешил материальных затруднений, а ещё и подбавил путаницы. Виталий Карасик, прочно обосновавшись в квартире, нашел уголок и в душе хозяйки. Нет, никакой лирической связи между пенсионером-публицистом и «самым нелепым геем Северо-Запада» (так он сам называл себя со смешком) не было, просто Витасик стал для Лилии Ильиничны подружкой, помощницей по хозяйству, компаньоном, чем угодно – только не съёмщиком, обязанным платить твёрдую сумму за месяц проживания.

Странно, но он не был болтлив, хоть и был приветлив, как большинство жителей его удивительной страны. Смешно читать о том, что-де геями становятся в процессе каких-то обстоятельств, таких-сяких и пятых-десятых. Может, кто-то и становится, но основная масса, конечно, прибывает откуда-то, ласково и брезгливо шурясь на землянскую нашу жисть, вздыхая, танцуя, блистая манерами, акцентом, нравами и модами своей прелестной и – увы! – на время покинутой родины... Белёсый, мягкотелый, с крупными губами, Витасик всё время, пока Анна читала бумаги покойной, печально шуршал у себя в дальней комнатёнке, как мышь в доме, откуда выехали хозяева. Он неподдельно грустил по хозяйке. Он ведь её и нашёл тогда.

Лилия Ильинична писала в блокнотах, чьи листочки были насажены на пружинку и потому легко откидывались, настоящей ручкой, заправленной синими чернилами, с одной только стороны листа – поскольку бумага от настоящих чернил часто промокала насквозь.

Она вела дневник нерегулярно и бессистемно – реальная её жизнь попадала на страницы урывками: так, довольно подробно Серебринская описала визит бывшего мужа, когда-то блестящего, но вчистую спившегося ученого-биолога, который огненно декламировал стихи Вознесенского, перемежая их матом (отчего стихи Вознесенского сильно выигрывали) и упрямо повторяя, что от неё он не возьмет ни копейки. «Да, – отметила Серебринская, – копейки не взял. Взял пятьсот рублей».

Были стихи и рассуждения о них. Были разные мысли и наблюдения.

«Нет, мне кажется, ничего мужеподобного во мне нет, – писала она. – Я женщина, женщина. Только какая-то *недопечённая*. Вот хорошее слово. Недопечённая, как булка. Не получилась я с какого-то боку. Вот чего уж теперь, да? А вспоминаю зачем-то – ну почему было не одевать меня по красивей родителям-то? В кружок танцев опять-таки. Научить следить за весом, научить готовить. Допечь как-то булку. Нет – суровая, спартанская прямо простота. Да нет, всё им удалось, навалившись на меня всем советским миром, всё удалось – они воспитали члена социалистического общества. Воспитали! Откуда же им было знать, что общества этого не станет, а члены – с сиськами и без оных – останутся? Почему же нас не ликвидировали? А может, нас ликвидировали? Остались одни только «белковые тела», как любит писать Моск-

вина. Белковые эти тела будут себе доживать биологическое время. Историческое время для нас – кончено».

«Ну и чёрт с ней, с историей. Гора трупов и набор сменных лозунгов. Но вечность! В неё-то – с чем идти? Я так себе иногда представляю: приведут меня на Суд. Ну, бухнусь на колени и скажу: Господи! Я такая же дура, как все! Прогони нас, *советских послевоенных баб*, каким-нибудь общим списком, не трать вечности на каждую пожилую морду!»

«Я прожила всю жизнь в одной стране, в одном городе, в одной квартире. У меня есть одна дочь, было два мужа и четыре собаки. Я никогда не могла себе представить, что мне будет не с кем поговорить. А это теперь почти что так».

«Я несчастна? Да с чего вы взяли. Абсурд – это не трагедия. Люди абсурда разве несчастны? Они вне смысла, только и всего. Трагедия чиста, трагедия сверкает космическим льдом. Вот есть тиран, и он тиранствует, и он берёт и сажает тебя в узилище. И ты бедствуешь, льёшь слезы или сурово молчишь, а тиран – о! грядёт час, и не станет тирана, и ввергнутый в узилище выйдет на свободу. И что-нибудь такое тут грянет, вроде марша или хора. Вообще картинка такая выразительная, и для её изображения требуется академическая живопись. На троне тиран, в тюрьме гонимый. Красотища. Подпиши воззвание! Не подписал воззвание? Значит, ты тварь дрожащая. Промолчал, предал товарищей – вечное проклятие тебе в задницу! А в абсурде никакой нет красотищи, да и воззваний никаких не требуется. Чего там подписывать, когда всё уже подписано. Идут тихие толпы с гниющими душами и пьют пиво».

«Чёрт победил. Что же ему теперь делать? Он скучает. А не дай нам Бог иметь дело со скучающим чёртом».

«Около половины одноклассников уже нет в живых. Мертва примерно треть курса. За десять лет, что я преподаю в Горном, я была на похоронах коллег – дай бог памяти – кажется, одиннадцать, нет, четырнадцать раз. Что-то многолько. Смертненько что-то».

«Приезжала Алёнка, три дня бегала по городу, хохотала, пила водку, висела на телефоне. Говорит: Лилька, ей-богу, нашла бы ты себе какого-никакого мужа. Жить можно! – это она всё повторяет, это у неё как припев. Я её спросила – *а ты помнишь про договор*? Она сказала, что прекрасно помнит. И на время перестала хохотать. Зубы у неё уже не те, и волосы поредели, но всё равно хороша. Зараза».

«Жить можно, кто спорит. Только зачем? И кстати, с чего вы взяли, что в аду плохо пахнет? В аду пахнет шашлыками!»

Слова – *а ты помнишь про договор* – были первой зацепкой в поисках тайны девичьего кружка. Но и пока единственной: более о таинственном договоре Лилия не упоминала. Имена подруг то и дело всплывали в дневниковых записках, но без связи с загадочным *договором*...

«Муж! Тоже темка. Не хватает мне какого-нибудь ещё мсье Верду на мою седеющую голову. Какой это чудесный фильм – недавно по «Культуре» показывали. Как ему противны эти женщины, эти глупые туши, которые все без исключения поддаются на одну и ту же приманку. Они верят, что их можно полюбить. Что вот придёт такой красивый, седой и печальный, скажет: о, только вы, только ваша душа, вы такая необыкновенная, понимающая... И эти четырежды перезревшие в сытости мадам Бовари, которым и в голову не пришло, правда, вовремя покончить с собой, сразу поплывут головой в мир своих тошнотворных грез. Им сразу всего

надобно – и страстной любви как в кино, и жить в своём доме до ста лет, подстригая газон. Правильно, мсье! Топите их в ванной побольше. Это так хорошо, так по-настоящему бессмысленно – ведь их меньше не станет».

«Однажды я видела царапнувшую меня картинку, да, это правда, однажды душа залилась горечью и сожалением. Китя вывезла меня в Ниццу, был девяносто восьмой год. Мы поехали вдоль побережья и нашли дивный ресторанчик, сели ужинать. И тут появилась эта пара. Он и она. Пожилые, даже старые, можно сказать, люди. Ухоженные, причёсанные, одетые по-вечернему – он в костюме и белой рубашке, она в шёлковом платье абрикосового цвета, с ожерельем на шее, волосы тщательно уложены. Красивые люди, супруги или старые любовники, пришли поужинать в ресторан. Ничего особенного. Просто быт, норма. И я вдруг поняла, что я этого не видела у себя дома НИКОГДА. Никогда. Ни разу в жизни. Я не видела пожилую, хорошо одетую пару, идущую ужинать в ресторан. У себя в Отечестве. Пожилые пары-то у нас есть, едут с тележками в электричках сражаться за пищу на дачных участках. Господи, что же мы натворили с собой? Что? Что?»

«Китя сказала мне спокойно, даже лениво: мамочка дорогая, ты же сама и развалила свой социализм. Я только рот открыла, как рыба на песке, хватала воздух. Я развалила? Я? Я была за справедливость, чтобы люди могли заниматься своим делом, чтобы могли посмотреть мир, чтобы никто не влезал в их веру, в их свободное время, в их частную жизнь... А Китя и говорит, с улыбкой: понимаешь, мама, уроды они и есть уроды. Они и капитализм построят такой же уродский, каким уродским был их социализм. Они, говорит, за сто лет дважды поменяли общественный строй, ну и что? Живут ещё глупее, ещё хуже, чем до семнадцатого года. Россия не получилась, вот и всё. Вот и всё?! – говорю я. И что теперь нам делать, нас сто миллионов, доченька? Сто миллионов, отвечает, я взять к себе не могу, а тебя могу».

«Роза говорит мне: Лилька, ей-богу, ты уж совсем какая-то *простодырая*, так нельзя... Да, Роза Борисовна, я не как вы, не сверхчеловек, в магазинах не ворую. А она преспокойно, с пятнадцати лет и до сих пор».

«Я начинаю превращаться в старую идиотку. Сегодня устроила сцену в автобусе, потому что кондукторша не объявляла остановки, как положено. Нельзя бороться за справедливость в автобусе. Я кричала. Это ужасно».

Некоторые листочки были из блокнотов вырваны, остался лишь зубчатый, нежный краешек на пружине. Так была ликвидирована запись, начинающаяся словами «Странно, я никогда не вспоминала об этом лете, и вдруг вспомнила всё, целиком. Сказала Марине, та, как обычно, стала хихикать и жеманиться. То лето, когда мне исполнилось двенадцать...» – следующие пять листочков отсутствовали.

Чистая, беззащитная душа... Анна читала записи Серебринской с печальным сочувствием. Лилия Ильинична, безусловно, попала в психологический тупик из-за повышенного уровня личной ответственности. Так сформирован был этот когда-то пластичный характер – в детстве и юности ей внушали, что человек должен отвечать за всё, происходящее в мире. В идеале – постоянно бороться за изменение мира к лучшему. «Понаделали психов... – с раздражением подумала Анна. – Бесятя теперь, выкинутые из жизни». Однако суицидных настроений в дневнике Серебринской всё-таки не было. Она страдала, она возмущалась несправедностью нового русского мира, но психологически была полностью включена в его вампирские спирали. Пусть одинокая и отставленная от дел, она жила в обществе, как говорится, «на миру». Действительно, сломать такой характер могло только нечто чрезвычайное. Но что?

– Виталий! – позвала Анна главного свидетеля последних дней жизни Лилии Ильичны. – Виталий! Можно с вами поговорить?

– Чайку, кофейку? – мигом отозвался тот. – А я всё думаю – позовёте, не позовёте? Вы же частный детектив, правильно?

4г

– В том, что вы рассказали, нет ничего дурного... Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, – светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Всё значительно хуже.

– Как! – с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперёд. – ещё хуже?

– Ещё хуже, – как эхо, откликнулся священник.

Гилберт Кийт Честертон. Сломанная шпага

– Я не детектив. Просто хочу написать про Лилию Ильиничну. Что она была за человек...

– Человек! – воскликнул Витасик, пытаясь сварить кофе. – Да вот именно человек! Всё, таких больше не будет. Откуда тут они возьмутся... Я сам, знаете, из Выборга, приехал в университет поступать, на психфак, ну, провалился. Приятель мой, которого она от армии спасла буквально, познакомил.

Именно в ту секунду, когда Витасик повернулся к Анне, кофе сбежал. Выборжанин и глазом не моргнул, видимо, привычный к такому исходу любого своего дела.

– Она людям помогала просто так, всегда расспросит, выслушает... Вот, я вам налью что осталось, а сам уж так...

На столе, покрытом скатертью в красно-розовую клетку, стоял небольшой телевизор и на нём DVD-проигрыватель. Вещи были отчётливо новые, даже как будто светились остаточным светом другого, не Лилии Ильиничны, мира.

– Кексы будете? Я купил такие хорошенькие, маленькие...

– Виталий, а этот телевизор Лилия Ильинична когда приобрела? Недавно?

– Да где-то недели за три до... до конца.

– А я так поняла, что с деньгами у неё в последнее время было неважно?

– Совсем плохо.

– Совсем плохо. И на это «плохо» женщина покупает новый телевизор?

– Понимаю, – грустно сказал Витасик. – Ну, какие-то деньги у неё появились тогда.

– Откуда?

– Ох, боже мой... – Витасик задёрнулся под пристальным, спокойным взглядом Анны. – Ну, я не знаю... Приходил один человек. Толстый, чернявый, мордатый такой. По-моему, от него деньги. Точно не знаю. Артур Балиев – так его звали. Совершенно не наш человек, такой, знаете, хозяйчик.

– Артур Балиев? – охнула Анна и бросилась к сумочке. – Вот же у меня его визитка! Я с ним только что говорила на премьере! Гад какой, слова не сказал, что знал Серебринскую. Какие у неё могли быть с ним дела?

Витасик понуро моргал, один за другим поглощая хорошенькие кексы.

– Знаете, Анна Ивановна, я хочу сказать, что честные люди тоже попадают в разные непростые истории. А Лилия Ильинична была просто как младенец в джунглях. И совершенно не надо про это писать. Это самое... бросать тень.

– Тень? – изумилась Анна. – Почему тень? Какие такие тенистые проблемы мог решать хозяйчик, как выразились вы, с пенсионеркой? Что между ними могло быть общего?

– Такое общее, что все толкуются в центре города, а он хоть большой, но не безразмерный. Ладно, скажу. Фронт гражданской защиты занимал две комнаты на этаже, который отходил к этому Балиеву под магазин его музыкальный. И Лилия Ильинична писала во все инстанции, чтоб эти комнаты остались за Фронтом. А их переселяли на Гражданку. А Балиев уже вложился

по-крупному в этот этаж... А у Лилии Ильиничны два зуба сломались, и к дочери не на что было ехать, и вообще...

– Оп-па, – растерянно сказала Анна.

– Он сказал, что жертвует на нужды Фронта, чтоб они переехали по-тихому и можно было что-то приобрести на новоселье. И что не надо гнать волну постоянно, что меняется время и без толку ложиться поперек дороги.

– Сколько она взяла?

– Три тысячи. Полторы отдала Фронту.

– Полторы – не отдала...

Витасик вздохнул так горестно, что поперхнулся кексом.

– Она с вами обсуждала эту историю?

Секретарь, отчаянно кашляя, кивнул.

– Сидела, вот где вы сидите, а деньги на столе лежали кучкой. Она так плакала... Понимаете, по закону была труба, ничего им не светило. Им дали эти комнаты каким-то левым распоряжением, в аренду только. И аренда эта вышла давно. Можно было только на совесть давить, на заслуги перед обществом. Она ходила по инстанциям одна практически... То есть абсолютно было нормально взять с этого мужика за беспокойство, ничего такого тут не было стыдного! Нормально! Можно было и больше взять. Чего там, я не понимаю. Они вообще оборзели, комерсы! – последнюю фразу Витасик, доселе державшийся прилично, проверещал чистым голосом улицы. *Голосом ипань из черного «бумера».*

Так ли бесхитростен был секретарь Лилии Ильиничны? – подумалось Анне.

– Она, конечно, выполнила обещание?

– Да, Фронт спокойно переехал, и она никуда больше не писала. Они там на Гражданке обои поклеили, компьютер купили.

– Она ещё говорила с вами об этом? Переживала?

– Ужасно, если по-честному.

Натёрли пятёрку на тёрке, – почему-то вспомнила Анна.

– А деньги остались после неё?

– Восемьсот баксов и рубли какие-то. Катя взяла, дочка её. Катрин Лепелье зовут. Стильная женщина и такая спокойная – как черепаха. То есть она не тормозная, нет, просто... без эмоций практически. Вроде вас.

– Первый раз слышу, что похожа на черепаху.

– Да нет, не внешне, что вы! Потому что панцирь, и вот если ползёт куда – обязательно доползёт, хоть ты что. Я очень черепах люблю. У меня дома...

– А вы следователю что-нибудь говорили про это дело?

– Да он ничего и не спрашивал. Да дело как открыли, так и закрыли – всё же чисто. Записка же была.

– А где она, кстати? Записка – у кого?

– Катя себе забрала, на память. Она обещала приехать, скоро, на сорок дней... Разрешила мне здесь жить, пока не войдет в эти... права наследства...

Детскую, толстогубую, испорченную мордашку Витасика исказила гримаса надрывной жалости к себе.

– Просто спасла меня, потому что, Анна Ивановна, вы не знаете, как трудно жить! Абсолютно не на что. Никаких средств. Все обманывают, никто не фиги не платит, ботинок приличных вот не могу купить...

– Ботинок, – поправила Анна.

На лестнице Анна столкнулась с высокой, сильно накрашенной девицей, в кожаной мини-юбке и джинсовой куртке, с разноцветными волосами и огромными золотыми кольцами в

ушах. Девушка пахла «Опиумом», коньяком и помойкой. Что-то насторожило в ней Анну, и она проследила взглядом, куда та направляется. Восьмая квартира, точно!

- Простите, вы к Лилии Ильиничне?
- Чё?
- Вы идёте к Серебринской? В квартиру восемь?
- Да тут тётка знакомая живёт.
- Не живёт. Она больше там не живёт.

Девушка спустилась на полпролёта, на полпролёта поднялась Анна. Бесстыжие синие глаза, как южные звезды, в упор разглядывали Анну.

- Тётка что, переехала?
- Умерла.
- Блин, – хмыкнула девушка. – Облом, значит.
- Облом, – согласилась Анна. – А вы давно знакомы?
- Ты чё, ментовка? Чё, пришили тётку? Давно?
- Я не ментовка, просто знакомая. А Лилия Ильинична покончила с собой.
- Блин, дура старая, – проворчала девушка и пошла вниз, стуча каблуками. К джинсовым курткам такие девушки обожают надевать вечерние туфли и золото.

– Простите! – крикнула Анна вслед. – Можно вас на пару слов? Как вас зовут?

Тук-тук, молчание. Анна выбежала на улицу и догнала резвую девушку.

– Мы не могли бы поговорить? Я собираюсь поужинать, не составите компанию?

Девушка окинула Анну оценивающим взглядом.

- Ты чё, грешница?
- Не знаю. Может быть... – засмеялась Анна.

О чём её спрашивали, она поняла только в кафе, где Анжелика (так звали девушку, по её словам) стала вести себя, как ведут подцепленные мужиками на улице или в поезде дешёвки – кланчить дорогую выпивку и навороченные яства с какой-то заунывной, попрошайничьей жадностью, курить, подкрашиваться и издавать звуки, смысла которых Анна большей частью не могла понять. Красивое от природы существо было плотно закутано в тошнотворный кокон своих пакостных привычек и овеяемо смрадными вихрями *безвозвратного падения*.

«Обширна и умирительна русская традиция непереносимого сочувствия падшим созданиям, – думала Анна, – но не было ли чего-то истинного в том ужасе, в той жестокой безразличности, с которыми женщины когда-то отшвыривали от себя соблазн падения и его носительниц? И теперь, когда и понятия-то такого – *падение* – не существует, а просто каждый распоряжается своим телом в личном интимном дизайне, теперь как раз и стало очевидным, что оно есть! *Образ женщины осквернён вдрызг, всё безнадежно*, – подумала Анна, – *мы потеряли чистоту и утратили цену. Мы больше ничего не стоим. Мы просто дырки. Какая противная тварь...*»

Между тем поведение Анжелики было довольно разумно. Канюча дорогие блюда и напитки, она проверяла возможного клиента на состоятельность, попутно выясняя, щедр он или прижимист, раздражителен или покладист, на что готов, чего потребует в итоге и какова вероятная прибыль. Обычно тётки были добрее козлов, но это тоже – как нарвёшься.

– Да я в клубе работала, фицианткой... – фыркнула она в ответ на вопрос Анны. – Ноги опухли бегать. Там одни козлы... Сейчас так, прикидываю, чем заняться. А ты на своей квартире живёшь или как?

– Сегодня, наверное, ничего не получится у нас, Анжелика. В другой раз. Не такая уж я *грешница*, чтоб сразу бросаться на красавиц.

- А я чё, красавица?
- Сто процентов. Одни глаза – с ума сойти! Карельские озёра.
- Что-то милое, девичье, наивно-радостное промелькнуло в нарисованном лице.
- Блин, я же из Приозерска! Не, ну ты следачка, точно.

– Скажи, а что, Лилия Ильинична... вы как познакомились? Ты обращалась к ней в этот... Фронт защиты, она тебе помогала?

Анжелика иронически посмотрела на Анну.

– Какой ещё Фронт? Чё ты гонишь? В клубе и познакомились. Она виски пила, три порции по сто пятьдесят, без закуси.

– Когда?

– Типа месяц назад.

– Анжелика, расскажи мне про Серебринскую. Я не ментовка, не следачка, я историк и в гимназии преподаю. Могу удостоверение показать...

– Покажи. О, правда – училка. Понятно. Ну что рассказывать? Ничего не было. Познакомились, пошли к ней в эту восьмую квартиру...

– Я хочу уточнить – вы пошли с целью... грешить, как ты выражаешься?

– Я так поняла, что да. Она так много чего говорила, а я ведь никогда их никого не слушаю, а то загрузят своей помойкой башку, а у меня башка, видишь, маленькая. Что-то там было из детства. На кого-то я, понимаешь, похожа. Кто-то её к этому делу приспособил и вроде как там лёгкое садо-мазо было, и вот она сейчас вспомнила и хочет избавиться. Или, наоборот, повторить. Что у них там в головах, у тёток – я о. уеваю.

– А тебе не противно?

Анжелика подцепила последнюю королевскую креветку и стала раскачивать её на вилке.

– Я тебе так скажу, историк: все равно за. бут, чё не выдумывай – за. бут. Я ещё в школе попала в одну компанию – каждый день драли. А сейчас я хочу – беру клиента, хочу – нет. Отдыхаю. В Египте была... А тётки – это вообще курорт. Хотя тоже всякое бывает. Я, знаешь, не Клава Шиффер, чтоб своей. здой раскачивать за бабки на весь мир, у меня это как лопата там или метла...

– Рабочий инструмент.

– Ну! Врубаешься.

– Так что было потом, когда вы пришли домой?

Анжелика поморщилась.

– А там началась клиника. Она ещё добавила вискаря и стала реветь, и редела до потери пульса. Потом заснула, как бревно, ещё бы – так орать. Ну, а я тебе скажу по-честному – свистнула у неё из кошелька сто баксов и свалила. Только сто баксов, правда, – за вызов положено, так?

– Что она кричала?

– Да что-то как в стихах каких-то. Что вылезли чудовища и пусть они её растерзают. Что нет сил, вот это много орала, что она одна и у неё нет сил быть против мира. Пусть он её сожрет, типа. Хорошая квартира, чистая. Я подумала – может, пустит пожить? Я у одной тётки жила полгода, пока её не замели. Нормально было.

– Замели?

– Ну да, посадили. Они же все на денежных местах сидят, тётки, ты сама знаешь. Бухгалтеры, товароведы там, завмаги, в ЖЭКах в этих, в паспортных столах – всегда при котле. Аферисток тоже до чёрта. Все тырят, кое-кто и попадаетеся.

– Ты думаешь, все тырят?

– Да стопудово. А чё им делать? Тётка, она если семейная – тогда надо придурков кормить, потому что там обязательно или дед лежит в параличе, под себя ходит, плюс мужик синий не просыхает, плюс внуки. Ну, суповой набор, ты сама знаешь. А если тётка одинокая – тогда она мается, приключений ищет. Или при ней гардемарин какой-нибудь, или девка. Бывают ещё тётки совком забитые, всего боятся – эти пьют. Жутко пьют. В любом разе бабки нужны.

– Стройная картина мира. Но я тебя уверяю – есть на свете другие тётки.

– Не семейные и не одинокие? Это какие?

– Которые не тырят.

– Нету, – твёрдо сказала Анжелика. – У нас в городе точно все тырят, сверху донизу.

Каждую осень, чаще всего в конце октября, бывает такой день, когда становится ясно, что погода портится безвозвратно, непоправимо, и впереди – сумрак, мелкие злобные ветры, сердитое грязное небо, плюющее в клиентов небесными остатками *конца времени года*, а дальше и того плоше – мокрый снег, гололёд, сломанные руки-ноги, темень, ругань, родина, зима.

Так же непоправимо и безвозвратно, как погода, испортилось пространство, по которому шла нынче Анна, разыскивая дом на улице Правды, где некогда обитал Фронт гражданской защиты. Улицы Правды больше не было, не было привычного с детства бульвара с тополями, не было ни одного знакомого Анне магазина или кафе. На полтора километра тянулась мощенная плиткой пешеходная зона, по одну сторону которой в неумолимом кладбищенском ритме лежали прямоугольные клумбы, неотличимые от могильных ничем, кроме отсутствия имени покойного, а по другую – мелкие пластические уродства, крошечные мостики, тумбы и фигурки неведомого назначения. Впрочем, имя покойного и так знали все... Торговые помещения исторического центра за пятнадцать лет реформ столько раз переходили из рук в руки, испытали столько беспощадных ломок, перестроек и ремонтов, что напоминали многократно изнасилованную женщину, которая уже ничего не помнит и ничего не понимает в происходящем с ней...

– Да я понял, по какому вы вопросу, – рыкнул мужчина Артур. Он стоял в разгаре своего ремонта, бурный и вдохновенный, как дирижёр, ведущий оркестр в кульминацию. – Пойдемте тут рядом, в кофейню. У меня ещё быт, видите, не сложился... Рустам, по стеклу с Вазаровым свяжись, только с Вазаровым, понял? Анечка, у меня полчаса только, вы поняли, да, отлично. Всё сам, иначе ничего не будет. Было так всегда! – помните, пели в фильме «Романс о влюбленных»? «Было так всегда-а-а! Бу-у-дет так всегда!»

– За всем следить надо? – спросила Анна, чтоб хоть что-то сказать.

– За всем! И особенно – за всеми! Два экспресса, ха-ха. Это я так говорю – экспресса... Или что?

– Хорошо, я согласна.

– Может, погрызёте что-нибудь?

– Нет, спасибо.

В новёшенькой металлической кофейне, блистающей, как самолет, не чувствовалось, как и в самолете, никакого прошлого. Здесь не жили, не любили, не ругались, не выясняли отношений. Здесь, можно сказать, летели, будто и не оставляя жизненных выделений. Ничем не пахло. Даже кофе – не пахло.

– Артур, я не представляю никакой официальной организации, и всё, что вы мне расскажете, – останется между нами навсегда. Но мне надо понять для себя, для того, чтобы написать про Лилию Ильиничну, что случилось с ней в эти последние месяцы жизни. Эта история с переселением Фронта...

Балиев аккуратно отпил глоток кофе, а вовсе не опрокинул его махом в глотку, как предполагала Анна. Нет, он ценил мгновение, дорожил вкусом.

– Так себе кофеёк. Дерут по полной, а зерно берут самое дешёвое. Шестьдесят рублей, почти три бакса – за что, спрашивается? Это такой у нас, у коммерсов, круговорот, дорогая Анечка, – круговорот бабок по карманам. Большая обдираловка – новый русский аттракцион, да. Хорошо, я прямо скажу – я напрягся, когда там, на банкете, разговор пошёл, вот, значит, Лилия была боец, бойцов убивают и всё такое. Я-то хотел наоборот, чтобы никаких больше не было разговоров, никаких писем, и воззваний, и статей на туалетной бумаге, то есть в газетах в этих ваших – свинтили с жилплощади пулечкой, и всё. Я люблю иметь дело с главными лицами, а главным лицом в этом деле была ваша Ильинична. Этот второй клоун, Саша Копец, – это

вообще чумовой дурак и мудозвон. Извините. Огрубел на строительных работах. Поехал к ней, как на свиданку, – вино, торт и бабки в конверте. Всё думал, сколько дать. Осмотрелся. Всё чисто-метено, никакой разлухи, книжки-картинки, даже секретарь-пидор ходит и чай варит. Но деньгами тоже не пахнет. Вижу – честная, хорошая тётка, осталась одна на старости лет, цепляется за эту свою общественную работу, как ещё в пионерлагере учили. Что и говорить! Крепко учили! У меня с собой было пять штук, дал четыре...

– Четыре? Вы точно помните?

Артур засмеялся.

– Как не помнить. Анечка, деньги – моя жизнь. Я помню свою первую зарплату так же твёрдо, как сколько заплатил за тур в Грецию в прошлом году. Я дал Ильиничне четыре штуки, да. Нормальная цена. Надеюсь, старушка хоть телевизор себе купила? Не всё бухнула в этот... *фонд Фронта?*

– Она купила телевизор. Только смотрела его недолго.

– Думаю, я тут ни при чём. А вы откуда узнали, кстати, про это дело?

– От... её друзей. Серебринская очень переживала. Видите ли, она в первый раз взяла... ну, взятку взяла. Что наводить тень на плетень.

– Не взятку, а компенсацию. Я занимаю их место – так должен как-то компенсировать беспокойство? По закону я прав. Но ведь есть и совесть, правильно? Ребята никаким бизнесом не занимались, ничего не шустрили, колготились там насчёт прав человека, зачем же мне их давить, правильно? Я мог и раздавить, например. Сейчас такие конторы, как этот Фронт, властям на хрен не нужны. Я заплатил – они съехали. Чисто, приятно. Хоть в церкви свечку ставь. А теперь выясняется, я ещё и виноват, что у старушки комсомольская совесть выиграла и она из-за меня таблеток наглоталась!

– Я этого не говорю.

– Ну, правильно. – Мужчина Артур вдруг погрузился, и его некрасивая, густобровая, щекастая физиономия стала почти симпатичной. – Скажу вам как историку – мне самому жалко иногда кое-что из той, из прошлой жизни. И людей жалко – *тех, бывших*. Там такие бывали душевные люди, такие песни, эх! Запутали мы, как в лабиринте, по своему же говну кругом ходим.

5д

Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умён?)... Но есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного.

Фёдор Достоевский. Записки из подполья

Бывшие люди... слово ударило в голову, отозвалось узнаванием. Россия – страна, где всегда живут *бывшие люди*. Когда же это началось? Наверное, когда впервые завёлся в отечестве мираж *новой жизни* и стала оседать на дно истории бородастая, хитро прищуренная, осторожная допетровская Русь. Кто-то мчит вперёд, меняя моды и уборы, возводя дворцы и ликуя на пирах, – а кто-то застыл в вечной опале, вечной обиде, вечном старообрядческом «Не приемлем!». Очумевшие от прибылей лихие фабриканты смеются над промотавшимся помещиком, проевшим последнее выкупное свидетельство, но век лишь моргнул, и фабрикантов тащат к стенке бодрые красные командиры восставшего народа. А вот и командиры у той же стенки смакуют последний вздох – пришла пора святой инквизиции под новым именем, ордена меченосцев, очередных хранителей очередного Грааля. Но и новоявленные рыцари сгинут, выкинутые – это если повезло – после смерти Великого инквизитора на крохотную пенсию, и придут люди жоповатые, тестовидные Иван Ивановичи – номенклатура партийная, да и они недолго на арбузных задах просидят! Тут другие подспеют пастухи у *новой жизни*, выйдут из-под земли небывалые быки-драконы огнедышащие, с малиновым звоном золотых цепей, собирать жатву крови... «На Московском государстве без лукавинки не проживёшь!» – советовал премудрый Лесков, старец *древнего письма*, да тут хоть как вертись – и с лукавинкой не проживёшь. Разбегайся, братцы, хоронись кто куда – опять новой жизнью лупят по головам, да по своим, да по своим!

Анна сидела дома, готовилась к завтрашнему уроку, но то и дело обращалась мыслями к чуть приоткрывшейся ей судьбе чужой женщины. Несмотря на очевидное скопление тяжёлых обстоятельств, которые могли привести Серебринскую к полновесному стрессу, что-то всё-таки было не так в этом самоубийстве. Человек, берущий взятку за молчание, может как угодно страдать и раскаиваться. Но он же взял деньги, стало быть, он хочет жить и эти деньги тратить. То, на что он хочет потратить деньги, ему важнее всякого стыда и раскаяния. Если бы дело обстояло иначе, Серебринская не телевизоры бы покупала, а отдала всю сумму на нужды Фронта.

Или история с пёстрой тваришкой – Анжеликой. Допустим, Серебринскую на пенсионном досуге одолели запоздалые эротические фантазии. Этого о людях лучше не знать, но ничего очень уж пакостного в этом нет. Как правило, людям только кажется, что они хотят воплотить свои грёзы в жизнь, – коли они, упаси боже, реально воплощаются, несчастные понимают, что ничего такого на самом деле они не хотели! Что они пренаивно приняли некое самоочищение психики, некие конвульсии дисбаланса сознания – за действительные планы своего «я». Женщины, которых возбуждает мысль об изнасиловании, вовсе не хотят его реально – в них, как правило, таким фантомным образом сказывается чувство вины перед миром за свою индивидуальность. Серебринская хотела с чем-то в себе разобраться и опять обрушилась в стыд, но действовала она, как человек, желающий жить, психовать и каяться...

Да, конечно, следовало разобраться с этой последней встречей подруг. Собака зарыта именно там. И дочь, Катрин Лепелье, – у неё записка, что-то может знать и она.

«Впрочем, не оставить ли мне эту затею?» – подумала Анна, любовно поливая свои домашние цветы. Все подоконники её строгого, упорядоченного жилья были уставлены растениями в белых и коричневых горшках. Других расцветок для горшков Анна не признавала. «Фикусу тесно. Летом он маханул, а теперь что-то приуныл, а рано ещё унывать... А драцена молодцом. Вот, миленькая, покушай... Забыть, не лезть, бросить историю заплутавшей женщины с такими ясными глазами и таким тёмным финалом? Но чего ради бросать? Что мне грозит? И потом, фигура частного детектива безумно привлекательна. Героическая позиция добычи истины скрашивается тем забавным обстоятельством, что истина ничтожна. Кто убил Гортензию Смит? Вот кто убил Гортензию Смит. А и хер бы с ней, с Гортензией Смит? Нет вот, не хер. Человек *расследующий*, человек, ищущий истину – как бы мала она ни была, – обречён на сочувствие. Даже на сочувствие самому себе. Вот я сегодня сама себе была интересна как следователь. Я поймала, кажется, юркий призрак жизни... Мы не умираем за истину, не бьёмся за неё – но разве мы её от этого меньше любим? Просто она стала не так доступна, как в те времена, когда вольные духи разбойничали на земле. Реформации, революции – это искушение истиной. Ну нет пока ничего. Ну пародия такая на жизнь. Но можно доискаться, кто убил Гортензию Смит! И чем я не детектив? У меня есть все качества хорошего литературного героя – например, у меня мало *свойств*. Для расследующего это так же обязательно, как любимые привычки. Хм, но у меня и привычек нет. Значит, я вообще идеал! Ни трубки Холмса, ни зонтика Брауна, ни усов Пуаро, ни вязания Марпл, ни орхидей Вульфа. Я воплощаю идею расследования в чистом виде. Я никто».

– Роза Борисовна, извините, я не расслышала – вы меня поняли?

Хрипловатый голос, раздавшийся в ухе Анны, был пропитан иронией и царственной важностью. На памяти Анны столь царственно разговаривала только завуч её школы, которую однажды прямо из кабинета увезли санитары. «Что на уме у этих тёток – я о. уеваю», – кстати вспомнилась Анжелика.

– Я поняла вас. Итак, ко мне обращается незнакомая женщина и просит рассказать, о чём я беседовала со своими подругами накануне... накануне смерти Лилички. Это исключено. Как говорят голливудские кинозвезды – следующий вопрос, пожалуйста.

– Следующего нет вопроса, – растерялась Анна. – Только этот и был.

– Только этот и был. Значит, будем считать, что контакт исчерпан.

Весь разговор.

«Да, случай тяжёлый и запущенный, – вздохнула Анна. – Не зря Яков Михайлович ещё в юности боялся эту Розу... О, в дневниках Серебринской я же читала – царственная Роза имеет привычку с детства воровать в магазинах. Там ещё фраза имелась, дескать, я не сверхчеловек, как вы, и я так не могу. Значит, Роза считает себя сверхчеловеком? С чего бы это? Пора мне к Якову Михайловичу заглянуть...»

А Яков Михайлович ноябрём-то приболел некстати, но Анне сильно обрадовался. Открыл, весь заверченный в тёплое тряпье, а как увидел, что Анна захватила для болящего коньячку, даже прослезился.

– Анюта! Выходите за меня замуж! Я вам наследство оставлю. А то сидим тут, старые пердуны, на жилплощадях! Пора место уступить, да...

– Дочка рассердится, – засмеялась Анна. – В суд подаст. Вы женитесь на какой-нибудь молодой злодейке, которой всё по барабану. Вот я такую недавно видела, по нашему делу, между прочим...

Странно, но факт: одни люди почти и не следят за квартирой, а она у них в порядке, все вещи на своих местах, а у других, как ни бейся, – бардак и свалка. Видимо, космос и хаос залегают в городской среде какими-то пятнами, пластами, *зонами*, и уж тут чистый фатум в законе, тут уж от личной воли мало что зависит: попался в зону хаоса, покорствуй. Так примерно разъяснял своей гостье хозяин, поскольку со времени последней их встречи пал даже тот уголок кухни, что некогда был прилежно расчищен.

– Вот клянусь громом, как Билли Бонс! *Они* сами передвигаются! То есть книги, бумаги... чашки с тарелками, честное пионерское – сами ходят по квартире!

Собачка романиста, видимо, начала сдавать ключевые жизненные позиции, не решив для себя, стоит ли переживать ещё одну зиму. В прошлый раз она нехотя, но встретила Анну в коридоре, теперь же и брюха не подняла. Повела ухом, посмотрела – и снова задремала в предчувствии *собачей вечности*.

– Не волнуйтесь, Яков Михайлович, – утешила Анна старичка. – Я приберу. Дело нехитрое, старинное, женское...

– И что важно – совершенно бессмысленное. Вы заметили у нас в языке смешное выражение: навести порядок. На Руси порядок не устанавливают или там учреждают, нет, его – наводят, как чары или порчу! Неудивительно, что этот волшебным образом наведённый порядок не держится, а исчезает вмиг, как всякий морок...

За мытьём посуды и сметанием пыли и крошек Анна рассказала романисту о результатах своих исследований.

Фанардин застыл. Потом стал нервно покачивать головой.

– Нет больше честных людей в России! Нет! – и скорбно хлопнул две стопки кряду.

– Да ладно вам, Яков Михайлович... – улыбнулась Анна. – Когда они и были-то здесь, и с чего бы взялись? Вы сами историк. Нарушение присяги и клятвопреступление – это у нас норма жизни.

– Я никаких присяг не нарушал!

– Неужели? А помните, как нас принимали в пионеры? Как ревели горны, стучали барабаны, как развевались алые стяги... или висели, уж не помню. А мы дрожащими голосами обещали, клялись «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза»... Так что мы все – клятвопреступники. А в народе вообще с этим просто – *что за честь, коли нечего есть?*

– Шутите, – вздохнул Фанардин. – Лиличка взяла взятку! Лиличка! Да я молился на неё...

– И ни к чему совсем. Молиться надо в церкви. А люди – они и есть люди.

– Вы так говорите нарочно. Самой ведь противно от того, что вы раскопали.

– Нет,нисколько. Мне Лилию Ильиничну жалко. Она запуталась, попала в круг страхов и страданий.

– Но теперь, конечно, ясно, почему она себя порешила.

– Вы думаете? Мне вот неясно. Неясно, зачем она взяла эти деньги, не на телевизор же, тут что-то другое, и уж вовсе непонятно, почему покончила с собой, – деньги берут люди, желающие жить, вот в чём дело. Она не казну растратила, не своровала их, ей принесли эти деньги в обмен на её деятельность – то есть на отсутствие этой деятельности. Частным образом. Один человек имеет право дать деньги другому – ну, например, хоть займы. Или подарить. Это не противоправная, а внеправовая сделка... Нет, очень бы хотелось поговорить и с её подругами, и с её дочкой.

– Дочка будет скоро – на сорок дней... Марина и Алёна вряд ли приедут – у Марины спектакли, Алёна далеко. Город Горбатов! Слыхали? Вот именно. Она там живет уже восемь лет. Разве что Роза придёт...

– Нет, спасибо, Яков Михайлович. Опыт общения с Розой Борисовной оказался таким, знаете, исчерпывающим.

– Ясно! – развеселился Фанардин. – Это она любит – для начала человека в дерьмо сунуть. К ней подход нужен, но, знаете, если её разговорить, ублажить как-то – так дух захватывает, что она говорит. Она считает, что, подобно всякой самой головоломной задаче, мир имеет единственное верное решение, и его можно найти. И тогда мир изменится в один миг, потому что решённая задача тут же сменится другой, ещё не решённой. И это может сделать один человек. Она захотела стать таким человеком.

– Это же безумие, Яков Михайлович...

– Ну и что? Высокое безумие! Потом она в житейском смысле умна и практична. Она устроила так свой быт, чтобы без помех решать главную задачу. Она ещё в юности говорила мне, что любое человеческое счастье для неё исключено.

– Всё-таки что такое ЛИМРА? И почему они, подруги Серебринской, принесли на их встречу эти четыре лилии?

– Вы знаете, про ЛИМРУ никто ничего не ответил, а про цветы Роза сказала мне, что они никаких лилий не приносили.

– Откуда же они взялись? Сама купила?

– Выходит, так. Или мы чего-то не знаем.

– Получается, мы ничего вообще не знаем.

«Я лечу в Грецию», – говорит человек и садится в самолёт, где жуёт конфеты, смотрит в иллюминатор, какает в облака и читает газеты. Это что, он летит? Или *его летят*? «Я живу на улице Ленина, я живу с женой, я живу хорошо», – говорит человек, но не вернее было бы сказать, что не он живёт, *а его живут*? Не властный ни в животе своем, ни в смерти, ни в любви, человек научился ловко присваивать неподвластную ему действительность. «Я заболел». Ты что, братец, сам вот так вот решил, взял и заболел? Ведь это *тебя заболели, тобой заболели, ты здесь вообще при чём*? Нет, стоит на своём – я пошёл, я написал, я подумал. *Тобой написали, тобой подумали, тобой пошли* – так следовало бы сказать, и так не говорит тем не менее никто. Каждый день с утра до вечера неутомимый я-жулик переназывает мир, выставя себя героем действия. Когда человек кончает с собой – есть ли это приговор я-жулику, который с работой не справился, не подогнал ответов под вопросы, неудачно переназвал мир, не сумел его присвоить?

Анна ехала в автобусе, думая о Серебринской и поглядывая на людей – да, они все принадлежали какому-то типу, их можно было классифицировать, дать порядковый номер. Но и тех, кто сейчас просвистывал мимо автобуса, покоясь в личных авто, можно было определить без особого напряжения. «Так ли уж мы биоразнообразны?» – думала Анна. После текста Лилии Ильиничны про тёток она стала обращать на них внимание. В самом деле, тётка в жизни шла густо и заполняла все пустоты реальности.

Плохо подстриженные, неумело покрашенные, сухие или пузатые, в немыслимых зачастую одеждах, тётки, как войско, несли суровую службу. Им обязательно было куда-то надо. Трудно было встретить беспечную, пьяную, просто так болтающуюся тётку – разве что тётку специального типа, падшую тётку, спившуюся вместе со своим мужиком. Куда-то всегда надо – на работу, на рынок, в больницу, на кладбище, в химчистку, в собес, в жилищное управление... «Интересно, – думала Анна, – есть мир мужиков в машинах, с бычьими шеями, и про них всё понятно, как они ходят, говорят, чего хотят. И есть мир тёток с сумками из автобуса, и они тоже нарисованы чётко. И кажется, эти два мира вообще друг друга не должны видеть в упор. И что могло бы их объединить?

Да ясно что – семья. Тётка – мать, жена, сестра, реально тётка или тёща мужика. Хорошо придумано, правильно. А Лилия Ильинична – бунтовщица. Какой-то свой отдельный путь

хотела придумать. Неохота ей было входить в доблестное тёткино войско. Или не могла она войти в него, потому что семьи, ради которой тётки бегают с сумками, у неё не было, так уж распорядилась госпожа Катрин Лепелье. А бывшим пионерам без общества куда пойти? Но как она решилась в таком случае предать единственную свою общность, Фронт гражданской защиты, вот что уж совсем непонятно», – подумала Анна.

6е

Вон та пожилая женщина, которая только что села в трамвай, явно держится подальше от кондуктора. Собственно, жизнь давно попросила её на выход, и она сама это понимает. Платить больше нет смысла. Билет на тот свет уже лежит в её сумочке. Он сгодится и для проезда в трамвае.

Эльфрида Елинек. Пианистка

– Очень хорошо, что вы историк, только какие у вас проблемы – я не понял, простите.

Пожилой, но весьма бодрый и моложавый обитатель офиса Фронта гражданской защиты на первом этаже блочной девятиэтажки одновременно разговаривал по мобильному, тыкал пальцем в компьютер и кивал Анне. В другой комнате, видимо, шло какое-то заседание, раздавались крики и смех.

– С кем я разговариваю... то есть простите – с кем я пытаюсь разговаривать?

«Фронтной защитник» прекратил беседу, отвернулся от компьютера и улыбнулся Анне, только сейчас разглядев, что к нему, однако, обращается приятная молодая женщина.

– Тыща извинений! Суета! Два месяца как переехали, ужас! Кирилл Венский – такая фамилия. Секретарь правления.

– Анна Кареткина. Я хочу вас спросить от имени... друзей и родственников покойной Лилии Серебринской...

– Да-да. Ужас!

Слово «ужас» было самым частотным в словаре Венского. Произносил он его четко, громко и весело.

– Вопрос такой: успела ли Серебринская передать Фронту гражданской защиты деньги на переезд? Потому что некое лицо передало ей эти деньги и некое лицо интересуется через родных и друзей, какова судьба денег.

– Некое лицо? Артур Балиев, акула капитализма, знаем мы это лицо. Да, было дело – поступили сорок тысяч рублей. Лилия Ильинична передала. Мы, конечно, поспорили, посоветовались – ну что ж. Против лома нет приёма, да и нет другого лома! Ужас! Ладно, взяли. С паршивой овцы хоть файф-о-клок, знаете ли. Пожалуйста, можем дать полный отчёт, что куда. Оприходовано как личный взнос из собственных сбережений. Прозрачно! А вы что ж беспокоили-то себя, в такую даль ехали? Вы бы позвонили сперва, как, что. Чайку хотите?

– Нет, спасибо. Я звонила. Мне и сказали, что по четвергам многих можно застать. Я, видите ли, хотела бы написать статью в память Лилии Ильиничны. Вот хожу, расспрашиваю людей.

– О чём?

– Что за человек была Лилия Ильинична.

– Прекрасный человек!

– Это два слова. А мне надо написать их не меньше тысячи.

Венский хмыкнул, почесал в аккуратной бороде, зачем-то полил чахлый хлорофитум на подоконнике водой из пластиковой бутылки с открученным верхом.

– Вы хлорофитум с улицы Правды перевезли? – зачем-то спросила Анна.

– Да, – отозвался Венский. – Галя сама перевезла, лично. Галя – наша помощница по хозяйству, десять лет уже. Вот любит этот больничный цветок...

– Больничный и школьный. Он во всех школах. Из комнатных самый неприхотливый.

– Как наши граждане. Вы знаете, я удивляюсь, как мало нужно нашим людям – в массе, конечно, в гуще. Какое поразительное отсутствие сознания прав... Лилия Ильинична, да. Ста-

рейший член общества, с тыща девятьсот восемьдесят восьмого года. Мы же не партия, мы добровольная общественная организация, наша цель – гражданская защита.

– Это я знаю, – терпеливо сказала Анна. – И даже не пытаюсь понять, что это такое. Я насчёт Серебринской.

– Насчёт Серебринской, – повторил секретарь, смотря на Анну, и Анна увидела, что в его глазах нет ничего.

– Кира! – В комнату заглянула плотная, коротко стриженная дама («Тётка с претензиями», – подумала Анна). – Ты тут что?

– Посетитель, – ответил Венский. – Я скоро.

– А вы по какому вопросу, девушка? У нас заседание. Письмо пишем в правительство. Хотите – заходите. Вы кто? Хотите подписать письмо?

– Нет, – любезно ответила Анна. – Я вам не пригожусь. Я никто.

– Кто был ничем – тот станет всем, – пропела дама, уходя. – Кира, мы ждём! И девушку тащи. Она с юмором. Я Настя Павловна. Привет!

– Пишем, реагируем... – задумчиво сказал секретарь.

– На что?

– Да практически на всё.

– Это умом можно тронуться – на всё реагировать.

– Как можно не реагировать! – удивился секретарь. – Мы с восемьдесят восьмого года реагируем, на все действия властей. Они закон – мы им письмо. Они приказ – мы воззвание.

– А они читают?

– Ну... – замялся Венский. – Кто-то читает...

– А Серебринская? Вы с ней много общались?

– Конечно, общались. Прекрасный человек, исключительно положительный настрой всегда.

Анна посмотрела в глаза секретарю, не понимая, шутит он с ней или нет, и опять не увидела ничего. Видимо, жизненные впечатления не откладывались в молодом гражданском защитнике, протекали сквозь его прозрачное существо. Или он хитрил, скрывался?

– Как она себя чувствовала в последнее время?

– Как чувствовала? Скорбела, как мы все. Теряем позиции! А, собственно, вас что интересует?

– Меня? Ничего. Попусту трачу время, – ответила Анна и собралась уходить.

– Подождите! – крикнул Венский вслед. – Не сердитесь. Вы не знаете нашей жизни – кругом враги, кругом. Откуда мне знать, кто вы такая? Но похоже, действительно вы что-то там пишете. Вызываете доверие почему-то. Я вам дам один документ. Это написала Лилия Ильинична совету Фронта, летом. Ужас! Возьмите, это копия, я размножил для прочтения, – и он протянул Анне три листочка. – Я совершенно не согласен с автором ни по одному вопросу. Но вам может быть полезно. Там... там всё понятно.

Письмо Серебринской в совет Фронта гражданской защиты, датированное 20 июня 200... года, отличалось той тяжёлой и мнимоисповедальной искренностью, с какой в советское время писались отдельными индивидуумами письма к съездам, союзам, группам и так далее; нечто фанфарно-звонящее и вместе с тем угрюмо-чугунное. Человек обращал голос не к живым людям, но к могучей глыбе коллектива, а потому изначально, энергетически был не прав и неправоту свою знал и чувствовал, однако знанию своему шел наперекор. Где-то за горами коллектива ему мерещился маяк истины, который, как считал человек, манил его подлинным светом.

«Согласитесь, – писала Серебринская, – как старейший участник нашего движения, я имею право на собственный взгляд и своё мнение о том, что с нами происходит сегодня. Сегодня главная наша тема – жилплощадь на улице Правды (смешно звучит – и в прямом,

и в переносном смысле!), мы боремся за неё неистово, но во имя чего? Для чего и кому мы нужны? Наша помощь гражданам мизерна, ничтожно мала. Мы просто кучка пожилых, растерянных людей, выражающих свои эмоции в письмах и воззваниях, которые никому не интересны и никого не останавливают. Гражданское общество в России не сложилось. Сложилось и уже застывает нечто иное: благоденствие для десятка миллионов вокруг эксплуатации природных ресурсов, с одной стороны, и узаконенная, санкционированная нищета с лютой борьбой за существование – для всех остальных, с другой стороны. Надвигается тотальная дегенерация страны. Выросло поколение дебилов, готовых убить не за копейку, а просто так и с удовольствием. Исчезают целые профессии и ремёсла. Что мы можем этому противопоставить? Кого и как мы будем защищать? Честно ли это – присваивать себе благородные цели и задачи, которых мы не в силах выполнить даже отчасти?

Мы хлопочем, мы имитируем бурную деятельность, мы морочим голову людям, которые всё ещё обращаются к нам, – и каков результат? Как наивысшее достижение товарищ Копец, друг мой и соратник, преподносит скверик на Васильевском, который жителям с нашей помощью удалось отстоять. Ну да, на этот год, может быть. Но разве вы сами не знаете, что они срубят всё, что захотят срубить, уничтожат всё, что захотят уничтожить, и застроят всё, что захотят застроить. Потому что у них кипит нутро от азарта, потому что в них горит огонь желанья – захватить, стащить, схватить! Они всего хотят и сразу, им подавай не дом, а домище, не машину, а машинищу, не деньги, а деньжищи! Поймите – это термиты, которые идут полчищами и сжигают всё на своем пути. А вы им письма пишете, укоряете. Не огонь у вас внутри, а тихий плач. Это в лучшем случае.

Я не могу скрыть своего глубочайшего разочарования в работе Фронта. Я отдала борьбе столько сил, что имею право сказать сегодня: борьба бесполезна. Я так создана, что не выношу вранья. Как человек, верный своим добровольным обязательствам, я напишу все воззвания по делу нашей жилплощади, о которых вы просите меня, но как только долги будут выплачены, я уйду...»

«С деньгами что-то не сходится, – прикидывала Анна. – Примерно полторы штуки она отдала Фронту, на маленький этот телевизор и прочее долларов шестьсот ушли, не больше, сто баксов стырила Анжелка и восемьсот обнаружила дочь после смерти. ещё штука непонятно куда уплыла... Про Фронт всё теперь более-менее ясно, остались дочка и подруги... Да, с такими настроениями не могла она очень уж терзаться муками совести. Это, получается, похоронные деньги – Лилия Ильинична хоронила себя как общественного деятеля. А всё-таки как это странно – могла ли Серебринская, примерная ученица советской школы, обладательница красного диплома Университета имени Жданова, представить себе, что когда-нибудь примет взятку от местного бизнесмена, да ещё в денежных знаках вероятного противника! Да, как и всем, сидящим *в русском самолёте*, ей была непонятна, была неосязаема для неё сверхзвуковая, сверхчеловеческая скорость его исторического полёта. Мы должны были всем миром сойти с ума, – подумала Анна. – Мы-то, с нашими страстями и аппетитами, с корявой развинченной психикой! После двадцати с лишним лет социальной стабильности, тихо прораставшей язвами и опухолями, въехать в эдакую ненаучную фантастику! Но что интересного в русском полёте найдётся для мира, для опыта веков? Хоть бы святые какие объявились. Или хоть войну бы какую выиграли, или изобрели чего-нибудь. А получается, сначала пыжились – мы наш, мы новый мир построим, – а потом лопнули. Натёрли пятёрку на тёрке... Вот стишок привязчивый какой...»

– Крузенштерна моего переиздают, – похвалился Яков Михайлович. Он всё недужил, кутался и в лечебных целях пил коньяк не гольём, а горячий и с молоком. – И статью заказали в альманах – про Минина и Пожарского. Не знаю, не знаю... лепил и я, не скрою, сладкие

пирожки, но нынешний развратный стилёк мне не освоить уже, всё, выпал я из корабля современности. Как им надо, я написать не смогу.

– А как им надо?

– Ну, там что-нибудь: «Тайна русской победы», «Князь и говядарь: загадка Смутного времени»... Самое интересное в истории то, что в ней вообще нет и не было никаких секретов и тайн. Что таинственного в том, что народ, доведённый до края, находит силы собраться и ударить? Что можно найти загадочного в обыкновеннейшей физиономии Козьмы Минина? Он был один из всех. Мужичок чуть толковее и расторопнее других...

– Всё-таки в Смутном времени были кое-какие загадки. Личность Самозванца, к примеру. Вы же знаете, что многие серьезные историки сомневались в официальной версии и не находили совпадений личности Гришки Отрепьева, беглого дьяка, и личности царя Дмитрия. Как-то вёл он себя не по-русски – не спал после обеда, ходил по Москве, привечал католиков. Вообще его царствование – какая-то странная мазурка. Учредил гласный суд с «выборными от всех чинов народа»...

– Что тут странного, Анечка? Пришли поляки, поляки и рулили, отсюда и суд, и призывы к веротерпимости, и прочее, а этот царёк, кто б он ни был, исполнял свою роль. Наши либералы почему-то любят этого злосчастного Самозванца – как своего предшественника по реформам. Таких предтеч скрывать надо, а не гордиться ими! Лиличке Серебринской тоже нравился первый Самозванец. Умер, говорит, героически, сопротивлялся московской черни, кричал: «Я вам не Годунов!» Не знаю, откуда она это взяла. Кстати, вы пойдёте на сорок дней Лиличке?

Анна освоилась в берлоге Фанардина, соорудила ему среди книжных горюшек уютное лежбище и уже не смеялась в лицо, а лишь чуть улыбалась, когда романист звал её замуж.

– Как раз в этот день и не могу никак. Замолвите уж словечко за меня перед дочерью. Что-то, по расчётам, тысячу баксов не могу отследить из той суммы, что получила Серебринская. Уплыли куда-то.

Фанардин лежал на диване, в ногах дремала овчарка. Она теперь открывала навстречу Анне только один глаз, светившийся потусторонним спокойствием, – её бог был совсем близко.

– Эх, Анечка, – сказал романист. – Я сам из бедной семьи, из простых. Мама вообще – подавальщица была в заводской столовой. Мурманск, эх... Я очень любил деньги, вещи красивые, прямо дрожал. Как увижу у кого новую машину – беда: сердце занимается, так хочу! Халтурил со страстью – прямо видел, как мои скудные смыслом, мнимо-цветастые строчки превращаются в крымский отдых, в свежее рыночное мясо, в антикварные подсвечники... И как отрезало. Уже лет пятнадцать, да, с реформ с этих вонючих, ну, думаю, Бог ты мой, пропади оно всё пропадом, да разве ж можно так! Вылезли черви... Копошились, извивались, назывались «сфера обслуживания», золото в банки складывали и на дачах в землю зарывали – факт, знаю! – и вот они, жопами наружу, взошли ясным днем, как репки! Здрасьте, тётя Маня из ресторана «Тройка» и дядя Ваня, завскладом, завзадом и завадом. Господи, столько мучений принять, лучших людей схоронить, чтоб теперь в такую тошноту въехать!

– Ну, деньги – это нормально, – ответила Анна. – Дисциплинирует. У нас, конечно, есть тенденция к чрезмерности во всём...

– Нельзя всё считать! – закричал Фанардин и аж закашлялся с натуги. – Мир создан не по правилам арифметики! Пусть тётя Маня живет, но пусть строго знает своё место, пусть на колени падает перед воином, перед священником, перед учёным, перед мастеровым даже! Пусть трепещет! Пусть не лезет в алхимические дела Большого государства со своим копеечным расчётом...

– Знаете, – ответила Анна, – я читала где-то, что каждый из нас внутри носит свой дом. И когда выпадает время его воплотить, этот внутренний дом вылезает наружу. Я ехала летом в Зеленогорск к приятелю и видела за невысокими – чтоб все могли рассмотреть! – стенами целые скопища таких вот вылезших наружу внутренних домов. Целые посёлки самодоволь-

ных, хвастливых, придурковатых уродцев. Они толпились на маленьком пространстве, в двадцати-тридцати метрах друг от друга, со своими невообразимыми башенками, эркерами, галереями, круглыми и овальными окнами, сооружённые без всякого правдоподобия, без мысли о стиле, вкусе, новенькие, щёгольски раскрашенные... Это были внутренние дома людей, оставшихся без всякой узды, без гнёта традиции, со своими аппетитами и мечтами наедине. И я подумала – может, так и надо?

– Чтоб всё скрытое уродство душ вылезло наружу и воплотилось в материи?

– Да. Потому что это несёт какое-то потенциальное освобождение. Ведь сбывшаяся мечта отваливается от человека, как сытый кровосос.

– Вы только учтите, что каждый ещё носит в себе свой внутренний автомобиль, внутренние шубы и сапоги, внутренние брюлики и внутреннего убийцу. И что с нами будет, если это всё начнет воплощаться?

– Так и воплощается уже, Яков Михайлович, и ничего с этим не поделать.

– Завидую я вашему спокойствию, – проворчал Фанардин.

– Я ни при чём, честное слово. У меня от природы что-то с эмоциями – будто какой-то центр заблокирован. Мне секретарь Серебринской сказал, что я в этом отношении похожа на её дочь Катю.

– Не-ет... Одно и то же не одно и то же. Катя – здоровый циник и прагматик. Это женщина-калькулятор, ей на Западе самое место. А вы странная, закрученная-заверченная, просто у вас, видимо, в чувственном аппарате поставлен предохранитель. Редкая в нашем Отечестве деталь. Вы покопайтесь в предках – может, там англичане были или шведы?

– Знаете, Яков Михайлович, я уже боюсь с вами разговаривать... Был швед, был, дед двоюродный по маме, Якоб Вальштрем. Слушайте, а давайте я вам сюда телек из кухни притащу? Будете лежать и смотреть.

– Да ну, – отмахнулся Фанардин. – Что там смотреть-то? Холуйские новости?

7ё

*Собою упоённый небожитель,
Спуститесь вниз на землю с облаков!
Поближе присмотритесь: кто ваш зритель?
Он равнодушен, груб и бестолков...
Валите в кучу, поверху скользя,
Что подвернётся, для разнообразья.
Избытком мысли поразить нельзя —
Так удивите недостатком связи!*

Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст

Человек в глазах другого человека всегда хорошо, плотно, окончательно очерчен: а вот самого себя ещё поискать надо. Старая женщина предъявляет фотографию смеющейся тонко-рунной девы: это я. Да что вы говорите! Надо же, как *вы* были хороши. Но что же получается, если сложить все моменты, если приплюсовать младенца в пелёнках к ребёнку в штанишках, затем втиснуть в контур подростка, потом — юношу-деву, потом... уф! Ничего не выходит, не совместить это в человеческих глазах, тут другие нужны, неподвижные, вечные, бесстрастные, что никакого момента не опускают, отвести взгляд не могут, и для этой точки восприятия смена очертаний куда занимательней отдельного контура. Тогда выходит, что человек не более плотен, чем мелодия, только на его разворачивание больше времени уходит. *Человек — это форма речи*. И блаженны те, кто не мешает хозяевам речи беседовать между собой. Спорить нашими телами, обмениваться впечатлениями с наглядной помощью наших судеб. Мы слуги. Это знали мудрецы всех времён. В нас *хронически* нуждаются господа, когда мы исполняем их волю, и мы бесполезны для жизни *Имения*, когда, исполнившись переносных значений, мы убегаем от хозяев и воображаем сами себя господами. И вот тот, кто должен был быть важным знаком препинания — например, точкой в конце фразы *господского текста*, — распухает на бессмысленной свободе в мёртвый чёрный ком, а рядом корчится междометие, пытаясь своей энергией преобразить пустоту, в которую его угораздило рухнуть. Сбежал беспутный глагол и надеется сам творить, подбивая на бунт ленивые существительные! А прилагательные женщины бродят на воле, избегая сочетаний... Итак, господам приходится работать с тем, что осталось, а этого едва-едва хватает на связное письмо. Влюблённые боги больше не могут обменяться затейливыми стихотворениями, так оскудела *человекоречь*. Глаголы ненадёжны, плохо с эпитетами, а главное — речь теряет размер, не держит форму... Приходится вычеркивать. Постоянно приходится вычеркивать.

Анна с неудовольствием опознала в Катрин Лепелье, Кате Серебринской, своего западного двойника — более ухоженного и более самоуверенного. Стройная, отчуждённо-любезная, с короткой стрижкой и маленькими быстрыми ручками, Катрин во время разговора с Анной не прекращала хлопоты по дому — отбирала книги на продажу и в подарок, складывала ненужные бумаги в мусорные мешки.

— Ох, мама, мама... Мама была в депрессии уже давно, — объяснила Катрин. — Хотите, кстати, что-нибудь на память? Вот, хорошая фотография, возьмите. Позавчера, когда мы маму поминали, многие говорили об этом. Её сильно подкосила смерть Михаила Александровича, это её второй муж. Они ведь прожили около двадцати лет. Михаил Александрович был учёный, известный правозащитник, и они подходили друг другу, как глубокие родственники. Да, семь лет назад он и умер, он старше мамы был значительно, а я уехала через год. С моим отцом мама рассталась, когда я совсем малышка была, — студенческий летучий брак, так что я воспринимала Михаила Александровича как родного папу. Но не называла так. Дядя Миша или просто

Миша. Благодаря ему у меня сформировался положительный образ мужчины, которому я не нашла соответствия на родине. Я понятно говорю?

– Я понимаю вас. Но, видите ли, если бы мама ваша была жива, никто бы и не вспомнил ни про какую депрессию. А задним числом легко накопать горы аргументов. Прожила же Лилия Ильинична несколько лет и без Михаила Александровича, и без дочери. Знаете, у меня был друг – театральный режиссёр, так он говорил: закон всякой драмы – что случилось сегодня?

Катрин покачала аккуратной головой. Эти серые глазки под высокими тонкими бровями видели множество прекрасных пейзажей, а соблазнительный ротик съел немало вкусной пищи, а ножки были обуты всегда в дорогую обувь, да и весь её складный организм никогда не терпел нужды – но глазки эти не были сыты, и ротик этот не был доволен, и ножки эти нетерпеливо переминались. «Миленькая стильная крыска...» – подумала Анна.

– Мама приезжала ко мне три раза. Я её любила, но очень плохо понимала. У мамы всегда было так много *отвлечённых чувств*! Она постоянно выходила из себя и жила вот будто вне тела!

– Отвлечённых чувств? Каких?

– Всякая там любовь к родине...

– Вы считаете это отвлечённым чувством?

– Мне всегда казалось, что это нечто наносное, искусственное. Нет в человеке органа для такой любви. Витасик! Два мешка на выброс!

Появился взъерошенный Витасик, припряжённый к разбору утильсырья, кряхтя уволок мешки.

– Удивительно: как ни следи за квартирой, всё равно накопится хлам, – заметила Катрин. – Вот наша бабушка была аккуратистка, каждый год производила генеральную уборку по железному правилу: вещь не понадобилась год – вещь не пригодится никогда.

– Мама вашей мамы?

– Да. Нина Петровна. Там же был мезальянс – дед Илья Иванович был учёный, с репутацией, с кафедрой, а женился в войну на медсестре Ниночке. Неудачный был брак, Илья Иванович ушёл из семьи, а мама его обожала и винила во всём Нину Петровну. Что она необразованная мешчанка, что папе с ней было скучно. Я думаю, эта мысль сильно повредила маме, она стала подозревать в несостоятельности... всё обыкновенно-женское, что ли. Бабушка долго жила, вот в той комнате, где Витасик теперь окопался, и меня вырастила тихо, без деклараций. А маме когда! У мамы то поэт из Сибири живёт, ни здарсьте ни до свидания, то представитель какой-нибудь исчезающей народности, то мать солдата, то отец диссидента. Ни пройти ни проехать, как бабушка Нина говорила. Она умница была, умела деньги считать, готовила из ничего, она вещи берегла. При ней чашки не разбилось, а как умерла – мама всё переколотила. У нас сервиз был кузнецовский – ну, где? Одна супница осталась, потому что мама только, может, под ружьём перелила бы суп из кастрюли в супницу. Всё бегом! Всё несётся куда-то! Знаете, мама в детстве играла не с куклами, а с дедушкиной коллекцией минералов. И я думаю, она в поисках такой же чистоты и ясности нарастила вне себя какую-то искусственную личность. *Искусственный кристалл...* И он разрастался и давил её, давил... Но при Михаиле Александровиче это было ещё не так заметно. Он её как-то хорошо гасил.

– Успокаивал?

– Да. Он был очень порядочный, очень разумный человек. У него никакой ненависти к советской власти не было. Он просто вычислил, вывел по книгам и своему опыту, что не может быть такого общества, в котором человек не имеет права открыть свой ресторан. Что это фантом. И в высшей степени разумно будет всячески приближать окончание этого миража. Он говорил, что, если человек лежит без движения, в нём образуется пролежень, так наш социализм и есть такой пролежень. Что это... как это... не способ организации социального тела, а область его умертвления. И что мы держимся за счёт русских накоплений, за счёт огромного

наследства. Его чуть было не посадили в восемьдесят третьем году – тётя Роза спасла, нашла ходы какие-то... Мой муж Франсуа на него похож, вот смотрите.

Катрин достала две фотографии – мужчина с бородой в саду, опирается на лопату, и мужчина без бороды в саду, в той же позиции. Худощавые, с ясными глазами, они вправду были схожи. Кто из них Франсуа, было понятно по гламурной расцветке фотографии.

– У Михаила Александровича была дача?

– Прекрасная, по меркам тех времён, в Новом Петергофе, и мы там жили по целому лету с бабушкой. Но после его смерти она досталась первой жене и детям. Мама же не расписалась с ним, представляете? Девятнадцать лет прожила! И не расписалась! Тут я вообще не понимаю, что это такое. Но даже в этой ситуации можно было подать в суд, доказать факт совместной жизни, общего хозяйства – нет, она отказалась и говорить про это.

– Никакого чувства собственности, да?

Катя вздохнула – видимо, тут находилась самая болевая точка.

– В том мире, где я сейчас живу, такие истории нельзя рассказывать даже как послевоенный анекдот – люди встревожатся: если у неё такая мамочка, может, она и сама ку-ку? Франсуа, который много знает, так он и не удивился её суициду, он всегда считал, что мама ненормальная... Я ведь рано ушла из дома. Как стала немного зарабатывать, так и ушла, снимала комнату. Мама считала меня эгоисткой, а она сама разве не была эгоисткой? Просто моё эго не нуждалось в поэтах из Сибири и солдатских матерях. Мне нужна была размеренная, обеспеченная жизнь, понимаете? Башмак надо подбирать по ноге. Мамина жизнь мне, можно сказать, жала... Хотите, кстати, что-нибудь из детективов? У мамы была неплохая подборка.

– Спасибо, я взгляну, – ответила Анна и принялась рассматривать книги. – Скажите, а Лилия Ильинична разговаривала с вами незадолго до смерти?

– Да, где-то за неделю, может быть. Она сказала, что скоро ждет девочек своих в гости, что купила DVD и смотрит старые советские фильмы, только старые и что, когда они кончатся, придётся смотреть их снова, потому что больше ничего она смотреть не хочет. Ещё – ну уж теперь это можно рассказать – пожаловалась, что у нее в последнее время бывает, как в детстве, энурез, от нервного напряжения, а если выйдешь за продуктами или просто на автобус сядешь, то нервы неизбежны. Я убеждала её показаться врачам, но мама всегда жила вне тела и её бесила мысль этим телом заниматься. Я просила её приехать... Потом она бормотала что-то своё, поэтическое, про то, что вылезли крысы, серые шкурки, блестящие глазки, и что они грызут Петербург, грызут Россию. Спросила, помню ли я рассказ Грина «Крысолов», где крысы прикидываются людьми.

– А вы помнили?

– Нет, – ответила Катрин Лепелье. – Я только «Алые паруса» помню, которые отчасти сбылись в моей личной жизни. Приехал принц, правда, пожилой, и увёз меня отсюда. Мне очень жалко маму, вы не подумайте, что я бессердечная. Она мной занималась, водила в танцевальный класс, заставляла языки учить – очень пригodiлось. Читала перед сном часто, хорошие книги, только всё такие нереальные, вроде Грина. Она... очень добрая была, только мне казалось, что не надо для чужих быть доброй, а лучше внутри семьи, но она так не могла. Я её звала к себе, но она ни в какую. «Что я там буду делать»? А здесь, мамочка, какие ты себе дела нашла? Понимаете, она зашла в тупик. Ведь у нас выйти на пенсию – это социальная смерть почти. Да, она мне ещё сказала в том разговоре непонятное: нет, говорит, воздуха, нечем дышать...

– Если вы не возражаете, – ответила Анна, – я возьму Честертона и Топильскую. И какую-нибудь фотографию Лилии Ильиничны. И вот её книжку стихов.

– А вот, возьмите, здесь она такая, как в последние годы была, с длинным каре. Перед смертью она зачем-то подстриглась коротко-коротко. Совсем как чужая лежала в гробу. Отчего это покойники так не похожи на себя живых? Какие-то дурные куклы, плохие слепки. Я знаю,

говорят – душа отлетела, жизнь ушла, главного в человеке больше нет, осталась мёртвая плоть, поэтому. Но почему вот если срезать цветок, он остается собой некоторое время, и мёртвые птицы – такие же, только глаза затянуты плёнкой. А человек сразу делается не такой, почему?

– Бог весть, – сказала Анна. – Я покойников мало знаю.

Пожилая усталая женщина смотрит старые фильмы, только старые фильмы, над которыми смеялась в молодости, где невинные влюбленные бегают под дождём, а следователи в поношенных плащах разоблачают мордатых расхитителей социалистической собственности. Этот мир когда-то породил её саму, а потом умер. Миры ведь тоже умирают. Но, может быть, питающаяся горькой реальной землёй Небесная Россия за счёт этой гибели обогатилась отточком наивного социализма? Женщина не думает об этом, не чувствует никакой веры. Там, где жила её чистоплотная, хозяйственная мама, теперь шуршит молодой губошлёп, гулёна-жилец, который иногда смешит её нелепостью манер и суждений. Когда-то она винила маму за уход отца и думала: что толку в этих пирожках и вечных постирушках? Разве ими удержишь господина? Нет, надо быть интересной и образованной, надо знать всё то, что знают *они*, и уметь всё то, что *они* умеют. Непременно должны быть виноватые. Кто-то всегда виноват. Кто-то должен нести ответ. Густое чёрное облако вины следовало на кого-то спихнуть. Мама плохая. Учительница плохая. Коммунистическая партия плохая. Капиталисты плохие. Но как ни старайся, облако вины хоть краем, да зацепит тебя саму. Женщина стала ощущать скудость, некрасивость, неверность своей жизни, если воспринять её как единую длительную мелодию *метаморфозы бытия*. Чего-то не хватало, недоставало, и как это исправить? Впереди была только одна, последняя метаморфоза – предстояло превратиться в старушку; если нет большого горя, метаморфоза занимает пять-семь лет. Но что было неверным? В ней никогда не чувствовалось *цветения пола*, и глупо было бы подхлестывать корявую, неказистую лошадку своей недопечённой женственности. Прямые жёсткие волосы скучного тёмно-русого цвета не укладывались ни в какую причёску: однажды она сделала мелкую химическую завивку, и лучшим друзьям пришлось смущённо и с жалостью отводить глаза, до того вышли безобразные патлы. Никакие ткани не ложились на прямоугольную фигуру – сминались, оттопыривались, так что наилучшим выходом всегда оставались неширокие брюки. Она была чистоплотна, старательно мыла своё тело каждый день, но в хлопотах могла напрочь забыть, что начинаются месячные, и несколько раз попадала в конфузные ситуации – однажды залила стул в парикмахерской, вот уж был стыд. Не то чтобы природа-мать не любит таких своих дочек, она к ним равнодушна. Второстепенная, служебная фигура. Надо служить, работать, *а там и потом вы скажете, что вы страдали, что вам было трудно, и увидите небо в алмазах*. Она и служила – друзьям, товарищам, идеям, мужу, обществу. Где же ошибка, в чём? А если ошибки не было, почему по утрам не хочется открывать глаз? Старые фильмы, уютная модель вечности. Люди в них, при всём разнообразии, похожи, как инструменты в оркестре, – играют одну мелодию, дышат общим воздухом... Тогда как за окном воздух у каждого свой. Да ещё поди его поищи.

«Она позвала своих подруг для решительного, главного разговора, не иначе. Наверняка Серебринская рассказала им всё, что происходило в её жизни. И только они, полвека дружившие с ней, могли удержать близкого человека от гибельного шага. ЛИМРА. Между прочим, в этом слове содержатся первые буквы их имен – Лилия, Марина, Роза, Алёна. Может быть, так и назывался их кружок? Связь прошла через всю жизнь – оказывается, именно Роза спасла мужа Серебринской от тюрьмы. Такой дружбе трудно не позавидовать, а впрочем... ведь не спасли. А хотели спасти? Как «девчонки» провели этот вечер, вот что интересно...»

Самоубийство пугает, изумляет: как же это решился человек? Но встав на иную точку зрения, скорее удивляешься, почему так мало на свете самоубийств и как мы вообще согласи-

лись жить на таких условиях, какие имеем на земле. Какой-нибудь насмешник станет утверждать, что мы и не соглашались и нас никто и не спрашивал. Но стоит хорошенько порыться в душе, и отыщется там уголок знания о том, что *согласие было*. Было! Существует где-то трудовое соглашение, договор, по которому, зная о болезни, старости и смерти, предупреждённый о душевной и физической боли, извещённый о возможных потерях и вероятных форс-мажорах, каждый из нас всё-таки обязуется жить во что бы то ни стало. И самовольное нарушение договора наверняка влечёт за собой санкции и штрафы. В античности, когда жизнь человека, лишённая нынешнего комфорта, была куда ценнее и слаще, самоубийство не осуждалось ни богами, ни обществом. Оно было редкостью, о нем писали в анналах. Оно было привилегией, связанной с честью. Жизнь тогда ещё *не приелась* людям, как приедается солдатам перловая каша по кличке «шрапнель». Но когда сбылось гуманистическое проклятие и «человек стал мерой всех вещей», то бишь мерой всего стало убожество человека, возведённые в абсолют люди опротивели сами себе, обожрались собой, и величайшей досадой воцарившегося человека уже очень скоро станет то, что *нельзя целиком съесть самого себя*. Апофеоз гуманизма недоступен!

8ж

Он был кем-то вроде Бога-Отца. Эту деревню Мегрэ знал, как если бы прожил в ней всю жизнь, даже больше: как если бы он был её создателем. Он знал историю всех приземистых домиков, скрытых темнотой, он словно видел мужчин и женщин, ворочающихся во влажных постелях, следил за ходом их снов, он чувствовал толчки боли больного и заранее знал, когда внезапно, словно от удара, проснется бакалейщица...

Жорж Сименон. Инспектор Кадавр

Неудивительно, что вскоре Лилия Ильинична навестила Анну во сне. То был тесный, искривлённый мир, полный косых, полуразрушенных зданий, слабо пародирующих ампирные дворцы, где вереск и крапива росли прямо из паркета, а из стен пучками лезли мелкие роевые грибки. Главной заботой Анны в этом мире было дозвониться куда-то и сказать что-то, но дисплей телефона покрывался бессмысленными буквами, а панель отслаивалась в руках. Анна увидела Серебринскую и пыталась её догнать, объяснить, как она рада, что та жива и невредима, но призрак удалялся, меняя одежды на ходу; наконец Анна смогла заглянуть ей в лицо – оно стало моложе и привлекательней, но было печально.

– Зачем? – спросила Анна. – Зачем и почему?

– Запрещено, – ответила Лилия. – Иди, иди, тебе надо идти.

Тут Анна поняла, что искривлённый этот мир создан малосильным, заурядным словом, что его нельзя исправить, но можно из него вырваться, если вспомнить *сильное слово*, и она принялась вспоминать его и не сумела: пришлось тупо проснуться среди ночи.

«Что же я пыталась вспомнить? – думала Анна. – Слова, повелевающие материей, творящие слова? Какая самонадеянность. Разве я могу их знать? Их не знали самые великие поэты и пророки. „Иди, иди, тебе надо идти“. Это понятно. Вообще невежливо – могла бы и поговорить со мной. Сколько уж я копаюсь в её жизни...»

Анна не хотела признаваться даже самой себе, что тайно скучает, как почти все образованные люди своего поколения, хотя бы оттого, что поколения не было, поколения перестали существовать из-за отсутствия творческих задач, стало быть, не было исторически санкционированного права на скуку. Но скука, конечно, была. Развеять её помог бы новый аттракцион – «догони бешеные бабки», – но Анна не знала входа в этот парк развлечений. Она не грезила о внезапных больших деньгах, ни во что никогда не играла и, оказись у неё на руках миллион долларов (предел обычных мечтаний), сильно бы затруднилась с растратой оного. «Серебринская бросила вызов, – думала Анна. – И приняли его двое: Фанардин и я. Приняли инстинктивно, ещё не понимая, в чём он заключён и кому брошен. Добро бы она как публицист записку черкнула – вот, ухожу из жизни в знак протеста против социальной политики государства. А она оставляет абсурдный стишок про пятёрку на тёрке. Коротко стриётся, надевает лучшее платье, ставит у изголовья четыре лилии. Текст создан для умеющих читать, знающих коды, и это, конечно, её подруги. Которые, как уверяет Яков Михайлович, ничего не рассказывают и не объясняют. Им удалось создать замкнутое сообщество со своей историей, своими правилами и своей моралью – разумеется, они должны были охранять свой драгоценный кружок от посторонних. Но ситуация поменялась, и поменяла её Серебринская: участник сообщества покидает его решительно и навсегда. Кружок уже нарушен, разорван, можно сказать, погиб. Какой смысл теперь хранить маленькие бедные „тайны четырёх“? Вообще нетипичное явление – эти девочки...»

Анна знала многих женщин этого возраста, этой формации – как правило, они были удивительно контактны и открыты, тайн про себя не держали и более всего страдали от дефицита

общения, которого было так изобильно в их молодости. Манера Лилии Ильиничны ломиться во все двери во имя справедливости была знакома Анне – такой же, но более тихой и мягкой, была её мама. Только мама, осознав, что никакой справедливости не будет никогда, а дочка подросла и нуждается в жилплощади, уехала в домик под Лугой и сражалась там безвылазно с неурожаем, засухой и сорняками – популярный жест кротких людей.

– Мама, – стонала порой Анна. – Ну уймись ты. Зачем ты возишься с картошкой? Хочешь, я тебе куплю сколько ты хочешь?

– Запомни, дитя, – отвечала мать. – Я не выращиваю *картофель*, но я *выращиваю* картофель! Человек, который вырастил и собрал свой урожай, по-моему, полезнее всех исторических деятелей за последние сто лет как минимум. Я люблю русскую землю не с трибуны за большие деньги, а вот непосредственно руками, в тишине. У нас с ней маленький сговор. Кроме неё – всё обман, ясно тебе? А если ясно, то не суйся со своим «куплю-куплю»...

Много лет таить секреты, состоять в сговоре, поддерживать загадочную внутреннюю жизнь замкнутого сообщества – такого с мамой не могло быть.

«Создать подобный кружок мог исключительно сильный, властный, деспотический с примесью магии человек, и это скорее всего Роза. Она, лишённая семьи, и более других нуждалась в нём. Да, Роза – ключ. Но идти к ней с пустыми руками бесполезно, надо хоть чем-то разжиться вначале. Да вот, кстати, давно собираюсь съездить к троюродному братцу в Москву – он говорил, дед мне книги оставил в наследство, уж с полгода зовёт, а мне не выбраться. Вот бы и выбралась, и Марину Фанардину заодно повидала...»

Анна, повеселев от свежего решения, навела у Фанардина необходимые справки. Яков Михайлович одобрил её намерения и выдал подробные инструкции обращения с коварной Мариной. Он советовал непременно посмотреть Марину в какой-нибудь роли и отозваться восторженно, однако и оригинально в то же время. Проявить изумлённый интерес к её одежде и косметике. Блеснуть знаниями, но не агрессивно, а невзначай. Ни в коем случае не говорить о детях.

На то были свои причины: уехав из Ленинграда в столицу, Марина сошлась с актёром, родила дочь, и дочь эту ещё крошкой отправили к родителям актёра, жившим под Москвой. Актёр вскоре погиб в пьяной драке, а Марина, занятая самоутверждением на сцене, редко находила время для маленькой Али. Произошло неизбежное: ненавидевшие Марину родители погибшего актёра отняли дочку, настроили против матери. Аля выросла чужой, избегала встреч. При всей своей лёгкости и холодности Марина хранила в душе эту язву и не любила разговоры о детях. По крайней мере, так утверждал Фанардин.

Подворачивались приятные дорожные хлопоты – приобрести билет, купить новую сумку, перетряхнуть гардероб. Мотаясь по городу, Анна по уже сложившейся привычке разглядывала «тёток» в магазинах и на транспорте, выискивая в память о Лилии Ильиничне печальные, интеллигентные лица: были, попадались. Но какая неумолимая печать скоростного увядания, небрежности к себе, хронического раздражения, бытовой замороченности и едва подавленного отчаяния! Их всех хотелось отправить скопом к доброму доктору, который выслушает, спросит, поможет. Анне нравились незащитные, растерянные люди. В них ещё как будто что-то посверкивало... «Интересно, – думала Анна, – а со мной что будет в эти годы?»

Мама Анны, Вера Николаевна, врач-пульмонолог, любила Чехова, решительно предпочитая его всем русским писателям, которые, по её мнению, ничего не смыслили в человеческом теле и всё перевирали. Она считала, что Достоевский вообще изображает не нормальных земных людей, а какие-то мечущиеся души в чистилище, слегка напоминающем Россию, а у Толстого детей рожают в таких невероятных корчах и воплях, какие бывают, не дай бог, раз на тысячу. «А это наш человек, доктор, – говорила она о Чехове, – он и не унижает человека, и не возносит его. А ровно на своём месте оставляет и надевает пенсне, чтобы рассмотреть

внимательно. Ну-ка, больной, расскажите, чем страдаете. И тот рассказывает – докторам-то не врут!» Поэтому Анна с детства читала в основном доктора Чехова и заразилась его неприязнью к самодовольству, агрессии, нравственной глухоте. Больше всего она боялась оказаться пошлой женщиной, из тех, что были столь ненавистны Доктору. Она старалась воплотить его идеал: быть вежливой, изящной, образованной, бескорыстной, скромной. До двадцати лет у неё не было ни одного поклонника, после чего Анна сообразила, что дело неладно. Любовь к заветам Доктора вела к лютому одиночеству: мужчины смотрели на Анну с любезным отвлеченным удовольствием, как смотрят на приятную картинку на стене. Пришлось закурить и завести мини-юбку, что подействовало с пугающей быстротой – через полгода, благодаря пошлости, Анна вышла замуж. Однако погранные заветы Доктора отомстили предательнице: брак вышел несчастливым.

Анна винила себя. Надо было ждать нужного человека, которого мог бы одобрить Доктор, а не заманивать голыми ножками пошлого самца. Расставшись с мужем, Анна решила более подобных трагических ошибок не совершать, но грусть была в том, что все чудесные женщины, сочинённые Доктором, были предназначены им для него самого, а никого похожего вокруг не наблюдалось.

Он сам об этом знал превосходно – из трёх сестёр Прозоровых ни одна не счастлива в личной жизни, но зато несчастливы они красиво, поэтически и разнообразно. «Отчего бы нам не полюбить несчастье, – думала Анна. – Хотя бы для того, чтобы от души плюнуть на этот поганый кусок мыла, на божка успеха и благополучия. Мне нравятся мои грустные тётки, нравятся их морщины, тусклые волосы, их немислимые кофты, их усталость. Они настоящие. Они свидетельствуют о жизни правильно и честно. Они, может быть, и есть сама жизнь».

Анна заметила, что тётки часто бормочут вполголоса, некоторые даже разговаривают сами с собой. Раньше это казалось признаком безумия, а сейчас примелькалось в общем сумасшедшем звуковом пейзаже города – сами с собой, то бишь с невидимым собеседником по мобильному телефону, разговаривали все, громко, внезапно, ничуть не стесняясь случайных своих соседей. Живые, рядом расположенные люди, для человека не существовали вовсе, он был без остатка погружён в связь с тем, кто нужен ему и кому нужен он. «Изобретая всё новые средства связи, мы становимся всё более одинокими, – думала Анна. – А уж о творчестве человеческих отношений не приходится и мечтать». Одна тётка, пышноволосая, с фантастически быстрой и грамотной речью, моргая подслеповатыми глазами, стала рассказывать Анне прямо в автобусе о том, как она бьётся о бесплатную медицину в своей поликлинике и как добилась нужного направления на процедуры и нужного рецепта. Анна без труда представила себе, каким кошмаром стала эта тётка для таких же, похожих, подобных тёток-врачей в поликлинике, и как сами эти, в своём пространстве грозные и властные, тётки превращаются в потерянных и униженных просителей, попадая в чужое пространство, к другим таким же, похожим, подобным тёткам – да хотя бы в паспортный стол, в собес, в какое другое мучилище. Круговорот тёток по малому филиалу ада. Разлучённые сёстры-близнецы не узнают друг друга.

У Серебринской вышла всего одна книжица, в конце семидесятых, «Чёрный хлеб», с равнодушно-дружелюбным предисловием известного в городе поэта-песенника Зиновия Хомякова. Он отмечал нравственную чистоту поэтессы, её тематическую строгость и верность некрасовской традиции гражданской неусыпности. По всему было видно, что рассудок Хомякова давно не участвовал в сочинении подобных текстов, которые он щедро сыпал в руки просителей, если эти руки были сопровождаемы упорными ногами и могли до него дойти и достучаться. И тем не менее его разболтанный ум мог считать и что-то справедливое, особенно когда поверхность анализируемого предмета была ясна. Серебринская, конечно, была не поэтом, но ритором и педагогом, и слова о строгости и чистоте верно определяли её скудное простран-

ство, украшенное избранной коллекцией дидактических минералов. Анна полистала книгу, взятую у Катрин Лепелье, и что-то в искренней неуклюжести стихотворений Лилии Ильичны напомнило ей о восемнадцатом веке, о солидных, разумных и наивных восклицаниях Сумарокова и Хераскова. «Кто счастлив, счастья своего не замечает. / Кто дышит вволю, тот скучает. / Тоскует о любви, когда / Она уходит навсегда». А что, скажете, неправда? «Кому-то сказки, плюшки да игрушки, / А нам положен бой и чёрный хлеб». Это похоже на кредо... Одно стихотворение Серебринской заинтересовало Анну упоминанием о «пятёрке». Оно и называлось «Отличница». Речь там велась о девочке-зубрилке, которая прилежно учится, хотя и не всегда понимает смысл уроков. Но школа закончена, и теперь девочку ждет суровая «хозяйка-жизнь». И хотя малютке кажется, что она знает уроки, хозяйка, управляющая огромным и страшным хозяйством своим, недовольна:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.